

МАРИНА ЛИТВИНОВА

## “ЖИЗНЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ?..”

*Воспоминания о Ю. П. Казакове*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

“Самое недостоверное – исповедь человека. Достоверно только “непрямое высказывание”, где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки “поднимай выше”. И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом “сочиняет”, – писал Алексей Ремизов в книге о Гоголе “Огонь вещей” (глава “Хвостики”). Скажу другими словами: исповедь, воспоминания – недостоверны, зато в романах, рассказах – “непрямых высказываниях” – всегда найдутся отзвуки событий из жизни автора, о которых он никогда не решился бы упомянуть в автобиографии или мемуарах. Написанное мной – не исповедь, а воспоминания. Но и воспоминания недостоверны. И в них есть “умолчания по стыдливости”, от этого не уйти, но поползновений рисоваться у меня нет. Когда-то мне хотелось написать роман, в основу которого легли бы пять лет жизни и странствий с Юрием Павловичем Казаковым (июнь 1960 – июнь 1965). Но эту мысль я отвергла. Мне хочется до конца осознать те далёкие годы, они были важны и в моей, и в его жизни...

Цель моих воспоминаний – показать в житейских подробностях, как жил и работал Юрий Казаков те пять лет нашего близкого знакомства. Они, возможно, прольют свет на эту, ещё одну трагическую судьбу писателя. Любовная драма и жизненная трагедия – вот содержание моих воспоминаний. Попытаюсь осознать, почему, по каким объективным и субъективным причинам Юрий Павлович Казаков, наделённый, по моему мнению, гениальным живописным писательским даром, фактически перестал писать рассказы к концу шестидесятых годов? Только рождение сына всколыхнуло в нём великий творческий порыв, и он оставил нам ещё два великолепных рассказа. Всего два за семнадцать лет! Рассказ “Долгие крики” был задуман и начал писаться ещё в первой половине шестидесятых. И где-то уже в самом конце аллегория – “Розовые туфли”. Любые мысли, эпизоды, островки природы, пейзаж, были и небылицы, – словом, всё, что отпечатывалось в памяти и воображении, без натуги стекало с его пера в совершенной словесной форме. Были у него любимые эпитеты (“нежный”, “тугой”), любимые синтаксические конструкции

(повторы). Но были ещё и любимые мыслительные приёмы. Описывая какое-то место точно и живописно, он любил перенестись от него за тысячи километров, погадать, что делают там люди – близкие и совсем далёкие, заглянуть в седую старину, красочно поведав трогающую душу, достоверную историю. Или даже в лучезарное будущее – “Калевала” (1962):

“Назад мы идём пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас тёплый, нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озёрами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревёнками, – я думаю: придёт время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озёр возникнут стеклянные дома – тут ведь особенно любят свет! – и побегут шелковистые розовые, и жёлтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов; тогда забудется многое, забудется бедность и приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется – не забудется Калевала, выпеваемая старыми голосами, и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия”. Это было написано весной 1962 года, вскоре после “Осени в дубовых лесах” и “Двое в декабре”, когда Юра не был одинок, и мироощущение у него было светлое. Даже можно сказать – оптимистичное, хотя это слово ко всему его творчеству мало подходит.

И ещё не могу не сказать: русский язык Юрин не только красив, сочен, богат, – он везде русский, никаких влияний иностранного синтаксиса, никаких иностранных калек. В том числе и поэтому уже к началу шестидесятых годов проза Казакова считалась выдающимся явлением в русской художественной литературе.

В статье “Беспорные и спорные мысли”, опубликованной в “Литературной газете” в мае 1959 года накануне писательского съезда, Паустовский писал: “Особенно глубока, прозрачна и берёт за сердце правдой и силой эта народная струя в рассказах Казакова и Никитина. . . Достаточно прочесть хотя бы два рассказа Казакова “Никишкины тайны” и “Арктур – гончий пёс” и рассказ Сергея Никитина “Вкус жёлтой воды”, чтобы прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии. Воздух огромной и любимой страны, дыханье изумительной нашей Родины струится из этих рассказов”.

Тогда же прозу Казакова высоко оценили такие не похожие друг на друга именитые литераторы, как В. Шкловский, Ф. Панфёров, И. Эренбург, М. Светлов. Ф. Панфёрову в августе 1959 года Казаков писал: “Вы по-настоящему помогли мне в самую мою злую, трудную минуту – и это не забудется. Мне особенно радостно, что рассказ <“Отщепенец”> все хвалят, меня поздравляют, и выходит, что я уже как-то отблагодарил Вас как редактора. Мне было бы хуже, если бы рассказа не заметили. И мне очень хочется принести Вам ещё что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы ещё и ещё оправдать Ваше доброе внимание ко мне. . .”

Возможно, в Юре проявился ген поэтической прозы, дремавший в его генетическом древе. “Позже, когда стал он признанным прозаиком, его художественная культура воспринималась порой как врождённая, наследственная, делались даже попытки объяснять её “секретами” далёкой казаковской родословной, – и в этом слышалось уже что-то от легенды”, – пишет Кузьмичёв в его литературной биографии. Мне мама Казакова Устинья Андреевна рассказывала о семейной легенде. Я её помню, вот вкратце её суть.

Предки Устиньи Андреевны были крепостные крестьяне князей Мещерских. Деревня была на Смоленщине. Миловидную крестьянскую девушку взяли в барский дом в качестве горничной. В доме был молодой князь, он сделал ей ребёнка. И девицу выдали замуж за бедного помещика-однодворца. Устинья Андреевна была не то её внучкой, не то правнучкой. Я слышала это из её уст. А в роду князей Мещерских был ген литературной одарённости, один из князей по материнской линии был внуком Н. М. Карамзина. Среди князей были писатели – драматурги и романисты, поэтические переводчики. Хорошо было бы сравнить их портреты с Юриными фотографиями. Но и до сравнения можно сказать, что черты его лица, форма головы, маленький размер ноги при довольно высоком росте изобличали в нём породу. В его внешности ничего не было от простолодина, он не был похож ни на мать, ни на отца.

Юра оттачивал природное дарование чтением русской классики – поэзии и прозы. Помню, мы прилетели в деревню Пялица на Терском берегу Белого

моря. И сразу отправились в библиотеку. Большая пустая комната, на полу – длинные книжные полки в три яруса, на них – толстые журналы и русская современная и классическая литература. Мы взяли, оставив в залог три рубля, “Анну Каренину”. Делать в деревне нечего (мы ждали самолёта), и Юра стал читать мне этот роман, чуть-чуть заикаясь. Он был очень внимателен к слову, точному его значению. Любил Бунина, Чехова, Паустовского.

Но к учёным сочинениям его не тянуло, работа ума не прельщала. Почитайте Юрины статьи – в них глубокие мысли в прекрасной словесной оболочке. Но если вчитаться, то новых, неожиданных поворотов мысли нет нигде. Есть только блестящее изложение превосходных идей и чувств, высоко благородных, общечеловеческих, которые и прежде неоднократно высказывались, но никогда так красиво и чувствительно. Возьмите любой абзац из статьи “О мужестве писателя”: “Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так всё зовёт его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей выдуманной жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они всё равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления – те, которые были и будут, – и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один...” Мне хочется чуть не всю статью переписать здесь, чтобы показать, как точно, изящно, проникновенно описывает он труд писателя, вызывая понимание, участие и восхищение.

Ещё одна черта писательского мастерства Казакова – герои его писаний трогают сердце, как живые люди, от его строк всегда веет живой дух. Читайте рассказ, и такое чувство, что ты сам чуть не вчера общался с его героем. Он, конечно, умел вызвать участие читателя к своим персонажам и в очерках, и в рассказах.

Оставленное им наследие невелико, но так оно полнокровно, так дышит жизнью всего живого под солнцем! Пусть написано мало – мал золотник, да дорог. Почему же прекратилось дальнейшее развитие творчества? Лёгкость писания не выработала привычки приклеиваться к стулу на многие часы на протяжении месяцев, лет. Он писал в упомянутой статье “О мужестве писателя”: “Настоящий писатель работает по десять часов в день”. Но сам он десять часов подряд никогда не сидел за машинкой. А закончив рассказ или длинный очерк, стремился вырваться из дома – на лыжах, на байдарке, или совсем из города – в Вилково, на Валдай, куда угодно. Путешествия давали материал для его чувственного, живописного творчества. Мой учитель, замечательный переводчик художественной литературы Ольга Петровна Холмская называла его “медиум”. Она говорила, рассказы у него получаются сами собой, он всеми фибрами души ощущает красоту природы, он безупречный словесный посредник между ней и читателем...

Полвека отделяют меня от тех давних событий. Думаю о них, как будто вспоминаю сюжет любимой, давно не читанной книги.

## **НАЧАЛО. ЛЕТО 1960-го – ЛЕТО 1961-го**

### **ПОХОРОНЫ ПАСТЕРНАКА**

Январь 1960 года. Бегу морозным январским днём по центральной улице подмосковного посёлка Голицыно, спешу на московскую электричку. Мне тридцать лет, я давно развелась с мужем, у меня семилетний сын. Мы живём у моих родителей, где есть ещё моя младшая сестра и брат, который родился 22 июня 1941 года в четыре часа утра, как раз когда немцы бомбили наши пограничные города. Я еду в Москву, у меня дела в институте, я преподаю перевод в МГПИИЯ (Московский государственный педагогический институт иностранных языков, бывший “Инъяз”, бывший “Мориса Тореза”, теперь Московский государственный лингвистический университет) на переводческом факультете, с которым будет связана вся моя взрослая жизнь, скорее всего, до последнего часа.

Навстречу идёт молодой, грузного вида мужчина в меховой шапке пирожком, с красивым неулыбчивым лицом, кожа под носом (там, где усы, как

у Чарли Чаплина) покраснела от стужи. Он замедлил шаг, посмотрел на меня близорукими голубыми глазами, наверное, хотел поздороваться, вдруг кто-то знакомый, и меня как током ударило. Увидев, что ошибся, он пошёл дальше. А я поспешила на электричку.

В Доме творчества живет моя учительница, вернее сказать, Учитель, Ольга Петровна Холмская, которая учит меня переводу уже десяток лет. И не только переводу. Это очень умный, саркастический, но благородной души человек. Ольга Петровна Холмская часто жила не у себя дома. В послевоенные годы её домом была комнатка “сапожок” в студенческом общежитии, что в Петроверигском переулке, позже – двухкомнатная квартира в писательском доме у метро Аэропорт по улице Черняховского, дом 4, квартира 106. Какое-то время и я там жила – Ольге Петровне было неуютно одной. Обычно она уезжала в Голицыно – жила в Доме творчества писателей или снимала комнату у местных обывателей. Я приезжала к ней и тоже останавливалась в Доме, если бывала свободная комната, или что-то снимала. Отношения у меня с О-Пехой, как звала её Евгения Давыдовна Калашникова, ещё одна переводчица из группы кашкинцев, были как у мастера и подмастерья. Ольга Петровна учила меня мастерству перевода, а я, чем могла, помогала ей. Она плохо видела, и вот мы сидим у неё в комнате, она, полужёжа на кушетке-кровати, читает вслух свой перевод “Тайны Эдвина Друдра” Чарльза Диккенса, а я слежу по английскому тексту, чтобы поймать пропуск или неточность. По ходу дела Ольга Петровна разъясняет, почему она перевела какое-то место именно так. Это была великая школа.

В тот раз, во время студенческих каникул, я снимала комнату у древней, но живой и весёлой старухи в такой же древней халупе, тёмной внутри и снаружи, недалеко от Дома творчества, где я обедала за небольшую плату. Так я оказалась среди молодых писателей, которые стремились в небожители, но были совсем обычными молодыми людьми. Кроме одного – Юрия Павловича Казакова. Это его я встретила по дороге на станцию тем морозным январским днём. Ольга Петровна сказала мне, что Юрий Казаков – начинающий молодой писатель, как говорят, очень талантливый. Попросила взять в институтской библиотеке его нашумевшую книжку “На полустанке”. Уйдя на пенсию, Ольга Петровна больше в институте не работала. Последний год я посещала все её занятия. Чтобы получать полноценную пенсию, Ольга Петровна перешла на полную ставку, но тянуть такой воз не могла – институт находился в нескольких зданиях, одно – в Ростокинском проезде, куда надо было добираться на трамвае от метро Сокольники. Мне доверили её полставки (я была аспиранткой Ольги Петровны) и половину нагрузки с неё сняли. Разумеется, я не взяла у неё той половины денег, что она получала за полную ставку (она, естественно, предложила их мне): ведь я ходила на все её занятия и училась не только переводить, но и преподавать.

И я взяла в библиотеке книжку Казакова – маленькую, беленькую, невзрачную. Сначала её прочитала Ольга Петровна, потом уже я. Книжка меня восхитила, такого ясного, чистого, невязкого, даже поэтического языка я не встречала ни у одного современного писателя, разве что у Паустовского. Я сказала об этом Ольге Петровне. Она подумала, подумала и говорит: “Казаков пишет под влиянием Бунина, так же сочно и живописно, да и жизненный материал, и отношение к нему – бунинские. Впрочем, это свидетельствует, скорее всего, о сходстве натур”. Я подумала, что это, наверное, правда.

Кончились каникулы, и я вернулась в Москву. А весной, в марте, Ольга Петровна опять поселилась в Голицыне, она любила жить поближе к природе. У неё было полдомика в Звенигороде, но там некому было готовить. И она зимой жила в голицынском Доме творчества. Ольга Петровна позвонила мне оттуда. Попросила привезти что-то и сказала, что можно пожить в доме дней пять между моими уроками в институте, свободна крохотная комнатка на втором этаже. Я приехала, заплатила в местной конторе за пять дней, вошла в дом и в сенях на вешалке увидела тёмно-красный шарф Юрий Павловича. Сердце моё чуть не выскочило из груди. На этот раз среди писателей был великий Юрий Домбровский. Он дружил с Ольгой Петровной, однажды она взяла меня в Переделкино, к нему в гости. Я уже тогда сомневалась насчёт авторства Шекспира. А Домбровский написал о Шекспире книгу “Смуглая леди сонетов”. Мы пришли к нему в комнату. Беспорядок там царил страшный, везде: на кровати, на стульях – книги, рукописи, бумага. Он был великолепен.

Высокий, тощий, на голове – копна чёрных волос, и очень добрые цыганские глаза. Я не осмелилась вымолвить свои сомнения в авторстве Шекспира, и он нам долго рассказывал, как ему самому виделся ещё более великий Шекспир.

И вот теперь здесь и Домбровский, и Казаков. Юрий Павлович дал мне прочитать коротенький рассказ о Ленинграде, где описано разведение мостов. Кажется, это рассказ “Пропась”, только он был короче и без трагической нотки. На другой день после обеда мы сели с ним в укромном местечке, и я сказала ему, что думаю об этом рассказе. В нём нет глубины, неповторимости чувств, он даже чуть-чуть пошловат. Но очень похвалила описание разведения в Ленинграде мостов. Ни слова не сказав, Юрий Павлович взял свой рассказ и ушёл к себе в комнату на первом этаже. Как же я себя ругала! Сама, сама разрушила крошечный мостик, который стал между нами возводиться! Но на другой день во время общего разговора в гостиной Юра вдруг сказал, чуть заикаясь: “А мне нужна такая жена, как Марина, чтобы неравнодушно читала мои рассказы”. Я не отнесла этих слов к себе, восприняла их как обобщённое заявление. Речь шла не обо мне, а об определённом женском характере. Таким гигантом, особенно по сравнению со мной, представлялся мне Юрий Павлович. Чего он, конечно, не подозревал. И сам в себе как в человеке не ощущал олимпийского величия. Но силу своего таланта понимал, чувствовал свою исключительную незаурядность. И хотел, чтобы для близкого человека он был самым великим писателем. Это я поняла позднее.

Кончились мои пять дней, я опять вернулась в Москву, не имея никаких надежд на неслыханное блаженство – быть вместе с любимым человеком. И хотя я как будто покорилась невозможности счастья, воспитывала сына, с увлечением переводила, читала Достоевского, готовилась к занятиям, но, когда в мае Ольга Петровна, которая всё ещё жила в Голицыно, сказала, что там опять поселился Юрий Павлович, и, кажется, надолго, я рванула туда, и наша встреча меня согрела. Он был явно рад меня видеть. В доме тогда жила Рита Райт-Ковалёва со своей дочерью Маргаритой, умной, целеустремлённой, доброжелательной, но не очень красивой. Я увидела, что Юра небезразличен ей. Рита Яковлевна говорила о нём с восторгом и как бы уже о близком её семье человеке. Май был очень тёплый. Юра позвал меня покататься на лодке на голицынский пруд. Я согласилась. Взяли лодку, купаться он не думал, но было так жарко, что он стянул свои выцветшие бумажные штаны, и в синих семейных трусах нырнул в воду. Юра не потерял для меня ранг небожителя, но становился как-то более своим, что ли. Я вернулась в Москву, ни о чём важном для себя не поговорив с Юрой. А у Маргариты умерла бабушка, она поехала хоронить её и попросила меня по возвращении не приближать Юру к себе. Я ей обещала.

А 1 июня умер Борис Пастернак\*. Какая-то столичная газета, кажется, всё-таки “Литературная газета” поместила позорно короткое сообщение в малосенькой траурной рамке: “Умер член Литфонда, поэт Б. Л. Пастернак”. Поэт и переводчик Андрей Сергеев, мой приятель и коллега (мы вместе переводили роман Томаса Гарди “В краю лесов”) позвал меня поехать в Переделкино, почтить память великого русского писателя. Подошли к дому, калитка открыта, на дорожке к крыльцу – еловые ветки, вступили в светлую комнату – никого, на столе – гроб, кто-то тихо играет на фортепьяно в соседней комнате, кажется, Рихтер. Андрей наклоняется к мёртвому лицу и целует в лоб. Я смотрю, стараясь запомнить смертную маску. Не запомнила. Всегда в воображении Пастернак, каким нарисовал его Анненков.

Похороны на переделкинском кладбище через день. Я не сомневаюсь, Юрий Павлович приедет на похороны. И там я увижу его.

В этот раз поехала в Переделкино одна. Улица, ведущая к кладбищу, вся заполнена медленно движущейся тёмной лентой пришедших проститься. Мне удалось подняться на возвышение почти к самой могиле. Народу – море. Опускают гроб, с сильным деревянным стуком падают первые комья земли. Вспоминаются поразительно точные стихи Марины Цветаевой: “И первый ком о крышку гроба грянет”. Растёт гора цветов, меняются один за другим чтецы. Гениальный “Гамлет” из “Доктора Живаго”. Да, Пастернак – небожитель. А мы, неспособные придумать ничего подобного, – пигмеи. И всё же я счастлива – живу в столетие, когда в России расцвёл величайший поэтический

\* На самом деле он умер 30 мая, а 1 июня его хоронили.

цветник. А если бы меня угораздило родиться раньше, скажем, в XVIII веке, я не знала бы стихов, считанных с небес в последующие века, не читала бы Пушкина, Лермонтова, Тютчева... Каких радостей была бы лишена моя жизнь!

В том дне для меня сплелись два мотива – прощание с великим поэтом, претерпевшим страдание от невежества, обернувшегося агрессивным злом, и предчувствие, казалось бы, невозможного счастья – встреча с писателем, у которого потрясающее поэтическое перо. Это я сейчас так перевожу на язык смысла обуревавшие меня тогда чувства. А тогда я всё время искала взглядом грузноватую фигуру с неласковым лицом. И я увидела его недалеко от себя, он был один в плотной толпе прощавшихся. Был уже конец траурной церемонии.

– Юра, – окликнула я его с забившимся сердцем.

– Привет, милая, ты одна?

– Одна, Андрей Сергеев был здесь позавчера. Сегодня не мог приехать.

– Поедем ко мне в Голицыно, помянем гения. Ты свободна?

– Свободна.

Любовь – это помрачение рассудка, мозг отключается, грудь распирает сладчайшее блаженство. Помянуть великого поэта с любимым – такое не могло присниться даже в самом счастливом сне. В моей жизни до сих пор всегда было так: тебя любит тот, кого ты не любишь, а ты любишь того, кто не любит тебя. Наверное, это потому, что я всегда влюблялась не в ровню себе, а в того, кто меня чем-то превосходил, во всяком случае, мне так казалось.

Мы не пошли на станцию Переделкино, от которой доехали бы до Киевского вокзала, оттуда на метро до Белорусской и в Голицыно. Юра сказал, что от писательского посёлка всего несколько километров до Баковки, что на Белорусской железной дороге. Пройдёмся по лесу. А там на электричку, до Голицына всего полчаса. И мы двинулись в путь, понятия не имея, сколько нам предстоит идти. Сначала шагалось легко; начало лета, пешеходная дорожка шла лесом, яркая, свежая зелень заслоняет солнце, веет прохладный ветерок, перешли мостик через ручей. Говорила больше я, рассказывала о трудностях художественного перевода, о русском языке. А потом он завёл разговор о своём друге, писателе Иосифе Герасимове, с которым мы познакомились в Доме творчества.

– Миленькая, – вдруг сказал Юра, – брось ты свои переводы, давай говорить о вечном. Как поживает Оська?

– Какой Оська?

– Уже забыла? Герасимов.

– А-а, Герасимов. Я его с тех пор не видела. С ним что-то случилось?

– Да нет, ничего. Он мне сказал тогда, что ты с ним...

– Что за чушь! Он мне не нравится. Я даже целоваться с ним не могла бы.

– Странно!

– А когда он это сказал?

– Да тогда и сказал. В январе, в Голицыно. Ты ведь с ним ходила.

– Да, он меня провожал один или два раза. Потом уехал в Москву, а когда вернулся, через два дня, кажется, уехала я. У меня даже его телефона нет.

– Это правда, старуха?

– Я, Юра, уже тогда только о тебе думала.

– А что же молчала?

– Так ведь ты был влюблён в Наташу, дочку Тушновой.

– И то правда.

– А Наташа как поживает?

– Я её тоже с тех пор не видел. Она мне рассказывала, что втюрилась в своего историка.

– Юра, а Маргарита сейчас в Голицыно?

– Нет, уехала. Рита Райт, её мать, провела со мной беседу. Попросила без серьёзных намерений её дочь не трогать, это неблагородно. Я испугался и стал с ней холоден.

Лес кончился. Давно перевалило за полдень. Было очень жарко, мы шли, шли, а конца дороге все не было. Попался деревенский магазинчик, Юра выпил пива, купил бутылку коньяка. Спросили, сколько ещё до Баковки. Оказалось, километров пять. Он устал, идти ему было тяжело, взяли такси и поехали

в Голицыно, не подозревая, что едем к нашему будущему, которое продлится ровно пять лет.

Вернулась я домой на другой день. Мы с Юрой были свободные от брачных обязательств люди, могли отдаться чувствам, никого не обманывая. Особого привкуса, существующего в отношениях между любовниками, имеющими семьи, у нас не было. Для меня Юра скоро стал родным человеком до последней клеточки его ума и тела.

Провожая меня на станцию, Юра взял у меня телефон. “Позвоню, когда буду скучать”, – сказал он, прощаясь, некоторые его фразы я до сих пор наизусть помню. 14 июня – мой день рождения, мне тридцать один год, выгляжу я молодо, судя по фотографиям того времени. Мои родные – на даче в Барвихе. Я дома в большой четырёхкомнатной квартире одна. Вечером пришёл мой школьный друг ещё с довоенной поры – В. С. Он литературовед, научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР. Умница, и теперь уже можно сказать – трагической судьбы. Он не женат, волочится за мной, я дружу с его матерью и сестрой. Мы вечно спорим о литературе, о роли Ольги Петровны в моей жизни. Он считает, что мог бы больше делать для моего творческого развития, чем она. Вдруг телефонный звонок, беру трубку.

– Привет, миленькая, – слышу Юрин голос. – Что ты делаешь?

– Ничего.

– Давай будем ничего делать вместе, – говорит Юра, слегка заикаясь. – Приезжай на Арбат, дом 30, квартира 29, жду.

– Еду, – говорю я.

Время час ночи, но не очень темно. В. С. знает про Юру. И понял, кто звонит.

– Еду к нему сию минуту, – бросаю я.

– Поезжай, конечно. Но не сомневаюсь, очень скоро мы с тобой весело посмеёмся над этим приключением.

Не посмеялись. Хотя друзьями остались на всю жизнь.

Метро уже не работает. Я живу в Покровском–Стрешневе. Тогда ходить ночью по Москве было не страшно. Дошла до Ленинградского шоссе. Подхожу к метро “Сокол”. Возле меня тормозит грузовик. Шофер лет пятидесяти приветливо спрашивает, далеко ли иду. Говорю, на Арбат.

– Садитесь, говорит, довезу, со стороны Смоленской.

– Мне надо как раз туда, – отвечаю я, – дело спешное.

Сажусь к нему в кабину, и через полчаса он остановился у Смоленского универмага. А ещё через пять минут я в объятиях Юры, он ждал меня на Арбате у своего дома. Не помню, какой этаж, но лифта, по-моему, не было.

И вот я первый раз, на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, вхожу в комнату, где живёт Юра с родителями. Сейчас их нет, они у кого-то на даче. Очень хорошо помню эту комнату, могу даже нарисовать её. Комната четырёхугольная. Напротив двери – узкое высокое окно. Комната, как войдёшь, слева поделена двумя глухими шкафами, стоящими перпендикулярно к двери, на две половины, левую и правую. Между шкафами – неширокий проход в левую, спальную половину, там стоит изголовьем ко второму такому же узкому окну высокая широкая кровать с металлическими шарами, где спят родители. Угол за изножьем кровати заставлен какой-то рухлядью. Обои мутно-зеленоватые, на них рисунок, напоминающий подводное царство, – силуэты водорослей, во всяком случае, такое у меня ощущение. В правой половине, куда ведёт дверь из коридора, у стены возле окна та самая кушетка, которую мне было обещано завещать, перед ней, у той же стены, небольшой стол, что-то ещё под окном, не помню. Вот и вся обстановка. И вот что я хочу сказать. Никакого стеснения за такую скудность у Юры не было. Он был естественный человек, воспринимающий внешние атрибуты жизни, как неизбывное, но не позорящее данное, и оценивал их только как “удобно” или “никуда не годно”, а не как возвышающий или принижающий признак социальной лестницы. В этом мы с ним были похожи. Он понимал, испытывал на себе, что его жилище “скверно”. Но всё же – крыша над головой. Так мы и начали жить, время от времени, в этой комнате. По утрам за окном громко гулила голуби. Я ходила в Смоленский универмаг за едой. Обед не готовила, нельзя было из-за соседей появляться на кухне. Юрина комната находилась, как войдёшь в квартиру, сразу же первая дверь налево. Мусор складывали в продуктовые бумажные пакеты и, уходя, брали с собой.

Так вышло, что наша вторая ночь выпала на мой день рождения. Повторю, мы были два свободных человека. У меня не было ни мужа, ни любовника. Мне они были не нужны. Мой брак не открыл мне, что брачные отношения могут давать наслаждение и женщине. Подруга моей дочери в двадцатипятилетнем возрасте говорила: “Зачем мне это сомнительное удовольствие?” Если бы у Юры не было такого таланта, я не влюбилась бы в него с силой *солнечного удара*. Но если бы такой же талант был облечён не Юриной плотью, я бы тоже не полюбила его. Что ко мне чувствовал тогда Юра, не берусь судить. Так встретились и полюбили два человека.

Мы были искренни, не лицемеры, любили русскую культуру, простых русских людей, русскую природу. Но мироощущение и восприятие людей у нас было разное. Моё мироощущение – светлое, Юрино – мрачное, что объясняется совершенно разными условиями протекания наших детских лет и юности. И, конечно, Юра был наделён великим поэтическим даром, а у меня этого дара не было. И для меня этот дар был великим сокровищем и достоинством, перекрывавшим все остальные качества человека. И вот эти двое принялись, очертя голову, сплестать свои жизни.

### ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В ПЕЧОРЫ

Юра собирался ехать с друзьями на Север. Это была командировка для какого-то журнала. Он собирал материал для “Северного дневника”. А мне пришлось на несколько дней отлучиться из Москвы. Я летала в Ставрополь за семилетним сыном, который жил у второй своей бабушки, матери его отца. Мы с Юрой договорились: когда он вернётся с Севера, я буду в Москве. И мы отправимся куда-нибудь, где он будет писать, а я переводить.

У меня остались от тех пяти лет письма и телеграммы, билеты на поезда, самолёты и даже на один пароход. Есть дневник, какие-то заметки, ноты, моя запись его рассуждений. От 1960 года сохранилось несколько писем, записок и телеграмма. Вот такое письмо, например, я получила от него 26 июля:

“Койда 26 VII 60

Милая моя! Я живу хорошо. Отсюда будем двигаться в сторону Архангельска. Теперь у меня вот какая идея. Когда мы закончим наш вояж, ребята уедут, и я останусь один. Так вот, не сможешь ли ты приехать, скажем, в Онегу или ещё куда-нибудь, и дальше мы пожили бы с тобой вместе или поехали бы напр<имер> в Карелию? Напиши мне на Архангельск. А я, когда туда приеду, еще тебе позвоню. Будет это числа 5–8 августа. Или ранее. Вот так. Будь здорова. Я тебя вспоминаю. Иногда. Целую. Твой Ю. Казаков <подпись>.

Если ты выберешься ко мне, это будет гениально” (пунктуация Ю. Казакова.)

Не помню, ответила ли я на это письмо. Наверное, ответила. Разумеется, ехать или нет, вопроса для меня не было. На крыльях бы полетела. Я ведь и сама люблю путешествовать, в 90-е годы дважды летала из Нью-Йорка на Гавайи.

Но потом планы у Юры изменились, и 5 августа получаю такую телеграмму из Ручьёв: “письмо телеграмма москва д-98 второй щукинский проезд дом 4 кв 25 литвиновой марине= приеду наверное двенадцатого хочу поехать псковскую область Печоры и Михайловская не хочешь ли ехать со мной имей дней на 10–12 телеграфируй в архангельск на главпочтамт салют= юрий”.

Наверняка телеграфировала, что согласна. Потому что через несколько дней по его приезду мы уже ехали на автобусе в Псков. В книге “Две ночи”, изданной в 1986 году, через четыре года после Юриной смерти, есть отрывок, начатый в 1963-м и не законченный. Юра очень точно описывает, как он жил в Печорах во вторую его поездку туда, уже со мной. Была ещё и третья, осенью 1962 года, и четвёртая. Пишет он только о себе: “И вот на другой год, проболтавшись полтора месяца на Севере, я ехал домой, и мне хотелось писать о рыбаках и обо всём, что я там увидел, и тут я вспомнил Печоры, и мне захотелось туда. <...> И вот через три дня я сел в автобус, всю ночь мчался, начало только смеркаться, я приехал в Псков, тут же нашёл машину и поехал



в Печоры”. Заканчивается отрывок таким абзацем: “В каком году это было? Да в 1960-м – во второй половине августа, значит, уже два с половиной года прошло, а мне иногда кажется, что двадцать, и очень захотелось рассказать про этого М. М.\*” (с. 133–137).

В приведённом выше письме 1970 года есть упоминание о нашей поездке в Печоры. И есть ещё одно письмо, где говорится об этом городке на границе с Эстонией. Вот что Юра писал из Поленова 14 сентября 1960 года. Приведу письмо почти полностью.

“Хэлло, старушка!

Я получил твоё письмо, спасибо, что не забываешь и, вероятно ради моего спокойствия, расписываешь все свои дни.

Насчёт всякой рыбы и прочего ты заблуждаешься – ни рыбы, ни чего бы то ни было – нет! Ибо я питаюсь в доме отдыха, а живу совсем один – Федя <Поленов> уезжал в Тулу, в холодной комнате. Вот. Поленово само по себе, разумеется, прекрасно. Но это понятие отвлечённое, потому что я почти целый день высиживаю дома.

Знаешь ли ты, что такое писатель, особенно такой, как я? Это самый что ни на есть занюханый человек. Это человек, который живёт в мире эфемерном, в мире, выдуманном им самим, в мире своих воспоминаний. Это человек, подменяющий реальность гнилым идеализмом. Этому человеку надо морду бить.

Никому я своего ничего не читаю, и тебе напрасно читал, потому что этого вовсе не нужно – нужно закончить вещь и остаться с ней наедине, нос к носу, а потом отнести в редакцию, чтобы её напечатали, а потом будет видно, хороша она или нет. И если хороша, то ладно, если нет, то надо помотать головой и приниматься за новую.

А Печоры я помню. Я ложусь, закурываю и вспоминаю. И я всё помню, почти каждый день. А ты помнишь?

Помнишь, как я опаздывал – до того, что даже стал равнодушным – надоело волноваться. Помнишь первую остановку возле туалета? Когда стояла пасмурненькая погода и мы ходили от автобуса и назад? Помнишь автобусную станцию с тусклым светом и страшными уборными и ещё кто-то спал на лавке, а я даже вздохнул, потому что знаю, что значит спать на лавке?

А Валдай <остановка в Валдае> – его тёмный, освещённый одной лампочкой возле ресторана кусочек и какие-то дома, по-видимому, хорошие, его мостовые? И как мы с тобой поднялись на второй этаж и выпили “Старки” <...> и как я тебя хотел в ту ночь, когда автобус мчался и в нём было темно?

А Новгород с его соборами, с серебристыми луковичами на них, с их древностью – у-у-у-у-ух какой древностью – Новгород ночной, пустой и освещённый? И его станцию-вокзал?

А дорога в Печоры и то первое, почему-то солнечное утро на Рабочей улице, Михал Михалыч, ворота, калитка его дома, комната и его вид, когда он сказал, что сто рублей? И как я, узнав, что магазины торгуют, тотчас побежал в магазин за выпивкой, и как я боялся, что ты станешь по бабскому обычаю канючить и говорить, что, мол, не надо и всё такое, но ты не канючила, а наоборот сама выпила, и как я был тебе благодарен за это, потому что, наверное, я бы возненавидел тебя, если бы ты тогда начала мне действовать на нервы?

<...>

Ах, как я жалел, что мало денег, что надо считать и рассчитывать и в чём-то прижиматься и что нельзя было купить, например, коньяку и т. п.!

А дороги в Эстонии! Господи, боже мой, какие там дороги, какие были поля со скирдами, какие хутора, озёра и реки! И вообще – как это человечно всё было! Тебе м<ожет> б<ыть> и не понять, а я-то перед этим шлялся по нашим русским “палестинам”, по северу, по дичи и глуши – и вдруг нечто божественное по разуму, по порядку, по труду, потому что эти поля и скирды это же не само собой родилось, а было создано руками людей!

А потом наши прогулки в лес, грибы и то, как ты жадничала и прятала грибы в карман, какие я хотел выбросить. <...>

Я не знаю, я очень боюсь, что теперь пойдёт всё вниз, к худшему, потому что мне сейчас трудно представить себе, чтобы опять так было. Но это

---

\* М. М. Белянин – хозяин дома, в котором мы останавливались.

неважно, надо как-то верить, что ли, надо к этому идти и путь для этого – автомашина. Я ещё не отказался от неё, я её хочу, я жажду её и ты мне в этом помоги, если придётся. До весны след<ующего> года у нас должна быть машина, а там посмотрим: может быть ещё и не то будет, что было.

Я не знаю, когда я приеду. Здесь я начал переписывать всё, что сделано в Печорах – это для разгону, так как сперва у меня ничего не клеилось. Ну, а теперь уж я втянулся в это дело. С перепиской всё хорошо и работы ещё дней на пять, а там начну дописывать конец. И если пойдёт так же, как шло в Печорах, то и кончу, как предполагал – числу к 24-25.

Завтра поеду в Тарусу, отвезу плёнку, которую снимал в Печорах. Отдам проявить и отпечатать, а тебе потом пришлю снимки.

Будь здорова, всего тебе доброго. Постарайся работать так, чтоб потом можно было взять отпуск.

14 сент., Поленово

Ю. Казаков”.

(Пунктуация Ю. Казакова.)

В письме опущены очень личные подробности. Мне не хочется, чтобы их читали посторонние глаза. Три с половиной месяца мы с Юрой вместе, но уже плотно поселились в уме и сердце друг друга.

Юрино письмо из Поленова коротко и ёмко описывает нашу жизнь в Печорах – события и размышления. Как живописно, без единого лишнего слова описал он увиденную Эстонию – её пейзажи и рождаемые ими мысли и чувства.

Однажды там с нами случилась поистине чудесная история. Перпендикулярно Рабочей шла Ивановская улица. Она вела в лес, до которого мы ни разу не доходили. Мы любили гулять по ней. Однажды идём и говорим о музыке.

– Знаешь, миленькая, – говорит Юра, – я очень люблю Второй концерт Рахманинова. Помнишь, как он начинается? Гениальный колокольный звон.

– Да, – отвечаю, – я тоже люблю этот концерт. И первый, и третий, но особенно второй. Потрясающий перезвон колоколов.

И в эту самую минуту воздух, а уже смеркалось, гулко наполнился колоколами Второго концерта Рахманинова.

Это было чудо. Иначе не назовёшь. Музыка доносилась из темневшего вдали леса. Мы поспешили туда. И вот что оказалось. В этом лесопарке был ленинградский пионерский лагерь. Он уже закрылся – последние числа августа. В нём временно остался пионервожатый, ленинградский студент, который тоже очень любил этот концерт Рахманинова. Поставил пластинку и пустил звук на полную мощность, для величавости. Мы восприняли это чудесное совпадение как благословение свыше.

В Печорах я ещё не заметила пристрастия Юры к спиртному. Он выпивал почти каждый день стакан красного вина. Несколько раз покупал водку. Денег у нас было мало, после вечерней выпивки утром опохмеляться ему не требовалось. Но на одно я обратила внимание: много выпив, Юра впадал в мрачное, подозрительное настроение. Начиналась ревность к моему “прошлому”. Почему меня бросил муж? Я, наверное, изменяла ему. Почему я вышла замуж, не дождавшись встречи с ним? Как жаль, что у меня сын, у его жены первым должен быть его ребенок. Всё это грубо, даже оскорбительно комментировалось. Уговаривать его в такие минуты было бессмысленно, уговоры не помогали, а только подливали масла в огонь. У него было сильное воображение, сильная впечатлительность, надолго сохранявшая в памяти пережитое. И ещё он был очень ревнив.

Юра как-то рассказал мне такую про себя историю. В 1959 году он был влюблён в умную и красивую журналистку. Их отношения дали Юре материал для рассказа “Адам и Ева”. Чувство у него к ней было очень сильное. Летом она уехала отдыхать на юг. Юра ехать не собирался, но скоро соскучился и, не телеграфировав, полетел к ней. Идёт по набережной в предчувствии встречи. Впереди него пара, мужчина с девушкой, он держит руку на её талии. Юра сразу её узнал, обогнал их. Она шла с красивым, южного типа брюнетом. Этого он ей простить не смог. Он сказал мне, что, когда увидел её с другим, к горлу подступила рвота. Она приезжала к нему в Голицыно мириться.

И тут же уехала, он её не простил. Я её видела — красивая молодая женщина с правильными чертами лица.

Вот как я писала тогда в дневнике о своих чувствах к Юре:

“31.8.60. Я так себе представляю любовь мою с Ю. П. Вот если бы я была его мать или сестра, то стала бы я дуться, обижаться на него, затаивать мстительные чувства, злобу, ревность? Ясно, что нет бы. И вот что интересно: я, не силясь, не делая над собой efforts, не принуждая себя, ни разу не обиделась за всё время, злобно не ревновала, если иной раз мне и было грустно, так оттого, что мне казалось, что я в тягость Ю. П. Я знаю, что не могу быть в тягость, если отношения дружеские, но вот любовные? Все женщины, которых Ю. П. знал, были очень хороши собой, либо целиком, либо были у них красивые глаза или фигуры, или цвет лица и т. д. А я что? Я только знаю, что такой второй любви ему не встретить. Потому что я не к себе его люблю, а к нему. Это точно и это мне странно. И мне очень, очень горько, что я не красавица писаная и не могу петь, и оттого не могу дать ему тех радостей, какие дают обольстительные женщины”.

Моя мама, доцент педагогических наук, чтобы не развить во мне самолюбования, говорила мне в детстве, что я некрасивая, у меня маленькие глазки и большой рот. Я с таким мнением о себе и росла. Но я никогда из-за этого не отчаивалась, и в моих отношениях с молодыми людьми это мне не мешало. Могла посоветовать, но в унынье никогда не впадала. Унынье мне генетически не свойственно.

После разрыва я ни разу не читала дневник. Собрала все письма, телеграммы, билеты, газетные вырезки, письма его друзей, сложила всё это в толстую папку и спрятала на полати в квартире моих родителей. Когда Юра умер, я спросила сестру, на месте ли Юрины письма. Она сказала, что не знает, кажется, их выбросили. Но через год она их нашла и отдала мне. Я спрятала письма в большую коробку из-под конфет. Остальное, в том числе и дневник, опять убрала в толстую папку. Так они и путешествовали со мной с места на место. Читать мне их было недосуг. Перечитывала несколько раз только его письмо от 13 июня 1970 года. Было ещё одно позднее письмо. Куда-то оно заделалось. Там он пишет о нашей жизни в Алма-Ате. Заделался и оригинал письма к моему дню рождения 1970 года, но я, зная, как легко теряются вещи с переездами, попросила свою первую невестку Лену Белосельскую (первую жену моего сына) переписать его, а оригинал отдала на хранение моей американской подруге Шарлоте Сайковски, московской корреспондентке газеты “Крисчен сайенс монитор”. После смерти Юры она мне его вернула. Где-то оно схоронилось в моих бумажных завалах. Не теряю надежды его найти. Вообще-то я очень не люблю писать письма, но Юре я писала с большим одушевлением.

Вернулись мы из Печор в начале сентября. Мне надо было приехать к 1 сентября, я сообщила, что опаздываю на неделю, и меня заменили. Юра сейчас же уехал в Поленово, письмо 14 сентября — оттуда. Там он продолжал писать “Северный дневник”.

“Хэлло, старушка! Гоод моооорнинг! Сюда тебе показываться не стоит. Тут плохо. Во многих смыслах. Во-первых, я живу в самом поленовском доме, в комнате без печки, но с умывальником зато. Во-вторых как-то я себя чувствую не в своей тарелке — гость, чорт меня побери! В-третьих, Поленово мне в этот раз не показалось. Вышел сегодня, походил, позевал и назад. И целый день спал. С 12 до 7.

Не работается. Я знаю, почему: перебил состояние. Понимаешь? Не надо было мне, дураку, уезжать из Печор, а там и добивать очерк. А теперь как-то зевается мне от него.

Вообще я тут долго не насижу. Всё-таки постараюсь кончить очерк, а потом домой. И никакой октябрь я здесь не буду.

Это, конечно, в том случае, если я вдруг не очаруюсь вновь Окой.

Грибов здесь полно. Но мне их не надо, и собирать не хочу — нечего мне с ними делать.

Напиши мне что-нибудь весёлое. Я тут взял почитать Д. Лондона, видал рассказ “Маленький счёт...” и даже немного обрадовался, будто тебя увидел. Белосельская! О господи!

Слушай, выбери-ка теперь ты городок, чтобы удобно было до него добраться и быстро. Я приеду с очерком, распишаю его куда-нибудь, и мы с тобой закатимся, а?

Ну всего хорошего. Жму твою лапку. И целую, конечно, раз ты так этого хочешь.

Ю. Казаков (подпись от руки).

11 сент., Поленово”.

И дальше от руки:

“Я тебе не послал письмо сразу, лень было идти. А теперь и рад – дела налаживаются, начал работать. И Ока вроде ничего. Но всё равно в Поленово тебе – ни-ни! Тут плохо. Я вот выберу время смотаюсь в Марфино или в Тарусу, погляжу и тогда вот как: я тут дописываю очерк, потом еду в Москву, дня за 2, за 3 устраиваю его, а затем обратно и жду тебя уже где-нибудь – в Тарусе, Марфино, ещё где-нибудь... Вот. А м<ожет> б<ыть> и вместе поедем.

Ну auf Wiedersein. Да, это будет лучше всего.

Ты помнишь Печоры? Закаты? Поля, красные обрывы?” (Орфография и пунктуация Ю. П. Казакова).

## МАРФИНО

Юра поехал в Поленово. А я у себя дома на Щукинской готовилась к своим занятиям, помогала делать уроки сыну. И писала Юре письма в ответ на его послания. Первое письмо – ответ на его сообщение от 14 сентября. Я не без интереса прочитала его. Прежде всего, это “дикое историческое” письмо, как выразился Юра, писалось любимому человеку. Я, как видно, представляла его себе таким, какой была сама. И думала, что подробности русской истории должны и его так же сильно волновать...

17 сентября Юра прислал мне из Поленова письмо, написанное от руки, в ответ:

“Meine liber Meri!

Я по тебе тоже соскучился. А ты мне пишешь какие-то дикие письма про Ивана Грозного. Я например страшно рад, что живу не в его царствование. Вот и всё моё мнение о нём.

Теперь о нас. У меня дело застряло. Мне надоели очерки. И я поклялся, что больше ни за что, кроме рассказов, не возьмусь. Мне в этом пример Чехов и Бунин – они молодцы, знали свой шесток и не лезли в публицисты. Хотя у Бунина есть “Путевые поэмы”... Но это другое.

Так вот – я застрял. И наверно не уложусь в срок. Поэтому я решил так: в ближайшие дни съезжу в Марфино и договорюсь. Потом, допитавшись здесь (я заплатил за питание в д/о до 22-го) перебираюсь в Марфино и буду жить до победного конца, т<о> е<сть> до середины октября. Там будет печка и деревня, и баня, и осень. И всё такое. Молоко, яйца и проч. И там я буду “наблюдать на природу”, как говорят кишинёвские евреи. И там я буду работать по утрам. Господи! Там я буду плевать на всех и работать, чтоб заработать моральное право мотануть потом в Пицунду валяться на солнце, есть виноград и кряхтеть.

А вообще я подонок – у меня все планы летят к черту. Я хотел ехать бражничать в Тбилиси. Ну фиг с ними. Так вот. Ты работай, брось все свои побочные дела, работай по-коммунистически, т<о> е<сть> набирай часы. К концу сентября началу октября ты должна быть свободна. И не меньше, чем на 15 дней. А то одно расстройство будет. И бери какой-нибудь перевод. Будешь по утрам потихоньку переводить, чтобы не мешать мне.

А в полдень мы будем надевать сапоги и плащи и выходить. Только обязательно достань настоящий плащ с капюшоном <последние четыре слова подчёркнуты>. Отними у мамы или у Тани (моей сестры. – Прим. автора) или у кого хочешь. А то я тебя убью.

Вот и всё. Я потом тебе позвоню или напишу и всё растолкую (расписание пароходов, как ехать и пр.) и буду встречать на пристани, прокопченный деревенским дымом и пропахший навозом и молоком.

Телеграмму получил, спасибо. У меня такое чувство, что я помер; а там где-то продолжается жизнь и печатают то, что когда-то было у меня в сердце и башке.

Очень я пережил смерть Панфёрова. Хороший был человек. Писатель плохой, но человек — редкий. “Октябрь” теперь пойдёт на нет.

Ну, будь здорова!

Ю. Казаков

Поленово 17 сент.

**P. S.:** Я намазал сапоги дёгтем, и теперь у меня в комнате стоит душу очищающий запах. Я вот капну на лист, а ты понюхай. Это здоровый русский посконный сермяжный запах, а не какой-нибудь там пудры или духов. Я тебя буду мазать дёгтем и любить за твою сермяжность” (орфография и пунктуация Ю. П. Казакова).

Когда я сейчас читаю это письмо, я знаю, что было потом, какой конец уготован нашей любви, и мне грустно и горько. А тогда, получив его, я ощутила неслыханное счастье. Может, потому, что я родилась в деревянном доме с русской печкой и не раз жила там до восьми лет, или потому что мой отец был крестьянин, я люблю русскую деревню, парное молоко, запах цветущего картофельного поля, лес, полный грибов и ягод. И возможность пожить с любимым “вдали от шума городского” была для меня таким же счастьем, как и для Юры. Юра писал очерки не очень охотно. Но, получив командировку от журнала или газеты — это давало верные деньги (других верных доходов не было): его очерки публиковали сразу, — тут же по возвращении садился за машинку и писал живые зарисовки виденного. Так появились “Северный дневник”, “Калевала”, “Белуха”.

20 сентября Юра пишет из Поленова такое письмо:

“У меня вчера тоже был хороший вечер: получил газету с Брежетом, получил твоё милое письмишко и окончательно договорился насчёт своего дальнейшего жития.

Ты кричала как-то, что меня любишь, и ещё кричала о “делании”. Так вот, настала пора деяний. Вот я тебе задам!

Я снял целое поместье на Оке, этакую усадьбу. Там многое есть, но кое-чего нету, и это всё “чего” ты должна будешь привезти.

Перечисляю по пунктам

Коньяк 3 зв<езды> /одну бутылку/.

Простыни и наволочки /штуки по четыре/. <Вычеркнуто ручкой>

Масло сливочное /1 кг/

Кофе молотый /полкило/

Чай /самый лучший — пачки три/

Хлеба белого /побольше/

Колбасы, ветчины и т. п. /побольше/

Патронов охотничьих, заряженных /30 штук/. О калибре я тебе потом напишу особо. <Вычеркнуто>

Кофейник /Может быть, не надо, я тебе напишу/. <Вычеркнуто>

Ленту для пиш<ущей> маш<инки> чёрную 13 мм <Вычеркнуто>

Сахару /2 или 3 кг/

<Неразборчиво> и убытки за мой счёт.

Вот кажется и всё. Впрочем, наверняка, я что-нибудь забыл, я тебе потом напишу или позвоню.

Это письмо я отправлю тебе из Тарусы, я туда еду сегодня — за карточками, к Паустовскому и позвонить тебе.

Теперь — как сюда ехать. На сей день по Оке идут из Серпухова три парохода: один — рано утром, часов в пять, второй — днём (я не знаю во сколько, на пристани узнаю и напишу тебе), третий — в 5 часов вечера. Если будешь ехать с пятичасовым, то из Москвы надо выезжать с тем поездом, с каким выезжал я. На вокзале бери такси, до пристани 12 рублей. Билет на паром надо брать до Егнышовки. Здесь я тебя встречу. Можно ехать и на машине. Серпухов — Таруса, из Тарусы по большаку до Трубецкого, а оттуда в Марфино. Если будешь ехать на машине, то в Марфине последний дом направо — мой. Но насчёт машины — это я на всякий случай, м<ожет> б<ыть> тебе неудобно будет затруднять отца, или м<ожет> б<ыть> он будет занят или

м<ожет> б<ыть> вообще ты не захочешь, чтобы он стал участником <"участником" зачёркнуто, сверху ручкой написано "свидетелем"> всей нашей мрачной жизни <"жизни" зачёркнуто, сверху – "любви">.

Осень настаёт великолепная. Я тебя очень прошу: бери отпуск на максимально возможный срок, чтобы потом не рыдать у меня на груди, что мало пожила. Да, вот ещё: с 1 октября остаются два парохода из Серпухова: 5 утра и 5 вечера.

Я хочу купить себе тут дом, так мне нравится в Марфине. Понимаешь, как здорово? Такие дали, такие детали, что ай люли! Я дрожу. Дом сдали мне москвичи. Там есть печка – русская. Буду топить и сушить грибы. Грибы ещё есть – белые. Рыба есть – в реке. Дичь есть. Ах, ах!

Теперь относительно рассказа <"Звон брегета">. Рассказ плохой. Там только одно место хорошее – это когда Лерм<онтов> на Зимней канавке и снег идёт. Всё остальное ненатурально и следственно литературно. Но всё равно я его люблю, и если мне будут говорить о нём плохо, я стану рычать и драться. Этот тип из "Комсомольца" написал мне, что беспрерывно звонят читатели и спрашивают, где можно достать мои книги.

А ты обратила, старуха, внимание на мою фамилию? Она набрана такими аршинными буквами, что это дело даже несколько компенсирует для меня те 600 руб<лей>, кот<орые> я получу за рассказ. Никогда в жизни фамилию мою так не наберут. Счастье мгновенно и единично в нашей жизни.

Я тебя жду в конце сентября или в начале октября. Но если ты сможешь освободиться раньше, то это будет вообще такой бенц, такой бенц, что я помру.

А за водой надо ходить глубоко вниз, к Оке, к роднику, а потом, высунав язык, карабкаться вверх. Я так замучился с этим делом, что вот уже дня четыре ничего не пишу. Очерк мой завяз окончательно. И вообще я помираю без тебя. Нету, понимаешь ли, – как это слово, симптомов\*, что ли? Ну, в общем сверхзадачи.

Письма ты пишешь мне гнусные – какие-то литературно-исторические. Ну да бог с тобой.

Я тебя прощаю.

Адрес мой теперь такой: Калужская область, Тарусский район, дер. Марфино. Мне.

Да, я вспомнил, пароход (второй) в Поленово в 11–08, значит из Серпухова выходит он часов в девять утра. Это тебе не подходит, очень рано. Так вот, значит, остаётся только один пароход – 5 часов вечера. В Марфино он приходит в 9 вечера. Из Москвы ты помнишь поезд – 2 часа 4 минуты, кажется.

За день или два тебе нужно меня известить телеграммой о дне твоего выезда.

Вот и всё пока. Будь здорова.

Юрий

20 сент. Поленово.

\*А вспомнил – стимулов!" (орфография и пунктуация Ю. П. Казакова).

В этом письме – отклик на одно из моих посланий, в котором есть такие строки:

"Сегодня утром, отправив Димку <сына>, я легла досыпать и не уснула, а долго тебе рассказывала, как по-доброму я к тебе отношусь. И все хорошие слова точно соответствовали тому, что имеется в душе. А эти слова, оттого, что они означают хорошие человеческие чувства, приобрели от своих значений привкус наигранности, сладости, неискренности и сентиментальности, но других-то слов нет. Я приуныла. А потом вот что поняла: всякое чувство-вание душевное обязательно материализуется. Оно, если только оно в самом деле имеется, не удовлетворяется тем, что ему соответствует, как вывеска, почётное слово (любовь, доброта, верность и т. д.), – а обязательно про-явится в "делании". И вот по "деланию"-то и надо судить о том, что в душе. Темно что-то я пишу, только ты пойми, что я хочу сказать".

Судя по Юриному письму, он понял моё понимание "делания", взывая ко мне, чтобы я осуществила его.

Мне удалось договориться с кафедрой и деканатом, и меня отпустили на месяц, до ноября. Числа 24-го я отправила Юре такую телеграмму (черновик на телеграфном бланке):

“Калужская обл Тарусский район дер Марфино Казакову Юрию Павловичу Собиралась выехать воскресенье <25 сентября> отпуск дают задерживает книга Гарди Кажется придется переводить с Андреем Сергеевым роман Вудляндеры 24 листа условия хорошие Всё окончательно выяснится в понедельник или вторник Тоска сидеть в Москве однако делать нечего напиши что ещё захватить Целую Марина”

В тот год осень была чудесная. Я выехала из Москвы, наверное, в среду или четверг – 28 или 29 сентября. Было очень тепло. Хорошо помню, как ходила по залитому солнцем Серпухову в поисках коньяка “три звёздочки”, и помню доброго продавца в маленьком магазинчике, который радовался, что у него нашлась последняя бутылка именно такого коньяка. Все остальное было куплено в Москве. Юра нервничал, что пароход, на котором я поплыву, не остановится по просьбе пассажиров у Марфина. 26 сентября один вечерний пароход не остановился, он даже написал жалобу в речное пароходство.

Я благополучно добралась до пристани, люблю путешествовать по неизвестным местам. Крошечная пристань, темно, хоть глаз выколи. Кажется, на ней никого нет. На носу у теплохода прожектор. Его сильный луч, поворачиваясь, высвечивает Юрину фигуру. В руке у него фонарь, но не зажжённый: он побоялся, что меня на теплоходе нет, а капитан, завидев свет фонаря, подумает, что надо взять пассажира, и напрасно причалит. Но я там была, попрощалась с капитаном – и соскочила на дощатый причал.

Ночь, сильные запахи реки, осеннего леса. Теплоход прощально загудел, повернул и скоро слился с чернотой ночи. И мы с Юрой зашагали по береговому склону наверх. В одной руке у него ведро, в другой – мой чемодан. Я несу сумку и фонарь. Мы следуем к нашему первому жилью – снятому деревенскому дому. Он точно описан в “Осени в дубовых лесах”.

Прожили мы там, наверное, дней пятнадцать, потому что уже 19 ноября Юра пишет мне письмо из Гагры. Вот оно:

“Здравствуй, Мариночка!

Я приеду 26-го в два часа (или в 3) дня, это, кажется суббота, ты, пожалуйста, сиди дома, я тебе позвоню, и мы пойдём в “Прагу” и выпьем и чего-нибудь слопаем. Только ты не ешь, а голодай, чтобы вкусить всего со сладостью.

Я тут не работал совсем, обстановка не располагала. Но есть идеи. Одна из них: поселиться наподобие Р. Райт в Голицыно на всю зиму. Ходить на лыжах и работать.

Чтоб ты не скучала, я посылаю тебе песню, которую сам сочинил. Её можно петь на слова “Я безумно тебя люблю” или “жестоко ранен тобой”.

Вот она:

*Allegro Moderato* (довольно быстро, с джазовым оттенком)

<Дальше идут ноты>

Сейчас тут шторм, ветер, пахнущий розами из Турции. Машину – ту, которую тебе предлагали – к чертям. Я покупаю новый “Москвич”, т<о> е<сть> новой модели.

Привет!

Гагра (?) XI 60 г.”

У меня есть ещё одно письмо от Юры из Тарусы, написанное 9 сентября, а какого года – неизвестно:

“Ну вот я и сподобился и опять побывал в Марфино.

На этот раз мы нырнули правее деревни, если заезжать в неё со стороны холмов; это мы сделали, чтобы миновать Терентьевых <хозяева дома, который мы снимали осенью 1960 года>.

Ночью был мороз, утром иней, туман. До девяти часов нельзя было выехать, ничего не было видно, хотя и видно было, что наверху солнца, и пароходы гудели предостерегающе внизу. Зато потом какой зацвёл день! Мы ехали вверх и вниз между золотых лесов, зелёных озимых по скатам, паутина сверкала, и всё летела, летела навстречу – эти длинные нити, упругие, толстые, так что мы головы невольно пригибали, когда что-то блестящее протягивалось вдруг перед глазами.

А в лесу, когда мы проехали по аллее, не той, кот<орая> ведёт вниз к роднику, а по той, по которой мы ходили за грибами, вывернули в поле, съехали вниз – опять, как и тогда, сидели грибы и ждали нас. И так же шумели под ногами листья и проглядывалась внизу река, и звуки идущих катеров доносились оттуда. Мы обошли эти бесчисленные параллельные овражки, которые начинаются ещё в поле и идут к реке, нашли много белых и хороших подберёзовиков. Было так тепло, что мы разделись, а я всё припоминал и говорил: “Вот там должны быть грибы” – и шёл туда, и там они были. И ещё, когда мы проходили под дубами, то так много было на земле, под листьями, желудей, что они хрустели у нас под ногами. И как это я забыл про этот слабый звук и не упомянул о нём в “Осени в дуб<овых> лесах”?

Вот так я пока и живу – ковыряюсь дома в словесах и езжу почти каждый день за грибами то туда, то сюда, всё по старым местам. И осень теперь в самой поре, в самом своём накале – раньше было много зелёного, позже начнёт “с печальным шумом обнажаться” – теперь ночами холодно, утром туманы, днём совсем тепло, и сколько это ещё продержится? Так и ждёшь, вот-вот оборвётся, дожди пойдут, сырость и мрак, и станет пакостно.

Засим – прощай. Наверно, скоро наведаюсь я в Москву, я тогда тебе позвоню может быть накануне. Как ты там?

<Подпись рукой> Юрий”.

(Орфография и пунктуация Ю. П. Казакова.)

Печальное письмо, если не сказать, горькое. Причём горечь не от злости на меня, а от осеннего печалования. Думаю, думаю и не могу отнести это письмо ни к одному году из наших пяти.

Но вернёмся в Марфино.. Вошли в избу, я достала привезённую снедь – хлеб, чай, масло, колбасу, конфеты, коньяк. Из русской печки достали горячий чайник. Юра заварил чай. Мы были так рады друг другу, очутившись в четырёх бревенчатых стенах, отделявших нас от всего света.

Широкие сени, слева – большой крытый двор. Известное словосочетание “удобства во дворе” к этой усадьбе неприменимо. Удобств вообще нет – ни во дворе, ни в сених. Это ещё усиливало неповторимость марфинской жизни. Справа – вход в избу, состоявшую из одной комнаты. По левую руку – большая русская печь, под печью – неглубокая выемка, где лежат ухваты и кочерга. Справа к ней примыкает широкое ложе с подушками, накрытое одеялом, дальше – пустой промежуток, ограниченный стеной, противоположной входной двери. В ней в середине – окно, перед ним – стол, который стоит не вплотную, между ним и окном – старенькое кресло. За этим столом, спиной к окну, Юра стрекочет на машинке свои сочинения. В правой стене тоже окно, в углу под низким потолком висит на ремнях допотопный радиоприёмник. А шагах в четырёх от стола в сторону двери – лёгкая сквозная перегородка из планок, которая отделяет кухонное пространство от “кабинета”. Тут есть стол, где я готовлю и смотрю сквозь широкие щели, как Юра пишет. Он ещё в Печорах сказал, что никогда не мог работать, когда кто-то есть в комнате, а со мной, оказалось, может.

Так мы и зажили в русской деревне на берегу Оки. Две недели, полные до краёв счастья. Мне даже не верится, что жизнь эта длилась всего две недели, – такие они были насыщенные.

В первые дни мы собирали в лесу грибы, в основном волнушки, я их солила по рецепту Юриной мамы. Юра захватил с собой гвоздику; чеснок и укроп дала добрая марфинская старуха, которую потом, прочитав в Тарусе “Матрёнин двор” Солженицына (рассказ тогда назывался “Не стоит село без праведника”), я отнесла к солженицынским праведницам. Скоро у Юры кончилась бумага. Достать её можно было только в Тарусе. И я решила отправиться туда на попутках. Вышла из деревни по большаку, ведущему на шоссе. Иду, слякоть ужасная, я в резиновых сапогах, чавкаю по лужам, особенно глубокие обхожу. И тут меня нагоняет грузовичок, на нём везут в больших бидонах молоко с фермы. Останавливается рядом со мной, шофёр спрашивает, куда это я иду. Отвечаю, в Тарусу. И они туда же. Втащили меня в кузов. И покатали по выбоинам, под звяканье бидонов. Была уже глубокая осень. Ядрёная, бодрящая свежесть. На фоне тёмно-сизого низкого неба тонкие белые ветви берёзы походят на нервы человека, как их рисуют в анатомических атласах. Мне тогда много приходилось ездить осенью, и это сравнение всегда приходило в голову. Купила в Тарусе бумаги, колбасы, сыру, конфет и тем же днем вернулась, опять



на попутках. Опять шла по слякоти и поняла, почему сапоги – русская национальная обувь: их шить дешевле, чем строить дороги.

Юра каждое утро работал, я читала Томаса Гарди, которого предстояло переводить для Госиздата. Работал он до обеда, после обеда – прогулка в лес, последние дни грибы встречались только замерзшие. Теперь-то я знаю, что и из них можно суп варить, а тогда мы ногами сбивали звонкие ледяные подберёзовики, и одно блюдо из нашего рациона выпало. Юра тут написал “Красную стрелу” и почти закончил “Северный дневник”. Я тоже пыталась что-то писать. Юра это моё стремление не одобрил, сказал, в семье двух писателей быть не может. А когда мне в голову приходил сюжет (один был из жизни советских литературоведов), он говорил: не пиши, испортишь, я это сам напишу. Но не написал. У него было тогда много жизненного материала для своих сюжетов.

Грибы грибами, но без мяса-то скучно. И опять мы отправились в деревню, на этот раз за курицей. Нашлась хозяйка, которая продала нам живую курицу, но наотрез отказалась порезать её. Принесли курицу в избу, она стала летать по дому, потом забилась под печку и не выходит. Юра говорит: рубить ей голову будешь ты. Я категорически сказала: нет. И он понял, что я буду твёрдо на этом стоять. Мне до сих пор больно вспоминать эту историю про курицу. Юра хотел куриного супу, мяса. Для этого надо было убить. Как мы гонялись по избе за этой беднягой, понявшей, что пришёл её смертный час! Юра тоже на всю жизнь запомнил это печальное происшествие. Ощипали мы её, сварили, она оказалась старая, тощая и жёсткая. И суп был почему-то невкусный. Так нам и надо.

Юра был счастлив жизнью в деревне, приливом творческих сил и тем, что рядом любимая женщина. Эту жизнь – наши пять лет – я сравниваю теперь с морем. Она была то тихая, умиротворённая, то бурная, штормит, а потом успокоится и опять ласковая. И мы в ней всегда вместе. Мне было хорошо, радостно. Юре тоже. Дай Бог всем испытать хоть раз в жизни подобную счастливую общность души и тела. Именно Марфино и родило рассказ “Осень в дубовых лесах”.

Этот рассказ начинается так:

“Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на её приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось у меня в ту осень”. Советую, читая эту часть воспоминаний, взять этот, один из лучших, рассказ и прочитать. В нём поэтически описано всё, что окружало нас в том далёком октябре.

У рассказа есть своя история. Через полгода, в середине мая я получила от Юры письмо из Крыма, из поселка Планерское, написанное от руки:

“Дорогая Маринка! Ты небось сейчас в Звенигороде? <У Ольги Петровны в Звенигороде на той улице, где стояла липа Чехова, было полдома с большим садом. В нём была комнатка для гостей, и я там часто жила. Но в то лето я сняла по соседству две комнаты с верандой, надеясь, что Юра будет туда наезжать>. Завидую, ибо сейчас у вас там (вернее у нас) майские жуки, берёзы, зори, прибывающее тепло и всякая прочая штукovina, и всего этого я лишён поневоле.

Это первое. Второе – ура! – только что разогнул спину, кончил рассказ 22 страниц, называется “Осень в дубовых лесах” – про долгожданную встречу некоего мужика с некоей бабой. Заглянул я на одну, на другую страницу и всё мне показалось омерзительным и фальшивым. Ну да авось это просто авторское... Завтра посылаю всё это в “Знамя” и в Калужский сборник <“Тарусские страницы”>.

У меня вот только что родилась гениальная идея (серьёзно мне надо было быть управдомом). По приезде в Москву <“в Москву” вставлено сверху> и при отъезде в Тарусу я еду не через Серпухов, а через Калугу. Там я иду в Калужское отделение Союза писателей, становлюсь на колени и бью челом насчёт того, чтобы они вошли в Калужское земство чтобы оно мне разрешило построиться в Марфино. Ух! А оттуда я лечу самолётом и сажусь напротив Тарусы на берегу Поленова.

Вот так. А ты будешь жить в своём Звенигороде и чахнуть. За Звенигород меня не агитируй, я его знаю и бывал там в Поречье и в Дунине

у В. Д. Пришвиной. Перед Окой и Марфиным это чепуха (прошу прощения). А смотри, что я написал в своём рассказе — плохо это или хорошо? “Телята с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задрав хвосты и расставив курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи”.

Здесь я просижу ещё числа до 22-23, ответить ты не успеешь, а если очень захочешь, то пошли письмо-телеграмму из 60 слов по следующему адресу: Крым, Судакский р-н Планерское Дачная 22 для Юрия Казакова.

В Москве я буду числа 25-26, ты тоже постарайся быть, вернее лучше позвони сперва из Звенигорода спроси меня или маму и если я приеду тогда тоже приезжай.

Привет!

Послала ли ты два №№ “Знамени” Мих. Мих. в Печоры?

Твой Юрий

13 мая 61. вечер”.

(Орфография и пунктуация Ю. Казакова.)

Опубликованный в журнале “Знамя” рассказ “Осень в дубовых лесах” отличается от рассказа, вышедшего в сборнике рассказов 1962 года. У меня сохранилось письмо Георгия Семёнова, посланное в Тарусу 29 мая 1962 года (штемпель на конверте). Вот что он пишет (на машинке):

“Юра!

Никак я, понимаешь, не мог связаться с Бочаровым, а потом, когда попросил Мулю Дмитриева это сделать и когда он поговорил с Бочаровым, с Толей, как он его называл, потому что Бочаров его хороший приятель, так вот, когда я узнал от Мули каковы дела с твоим рассказом, мне стало очень досадно и я никак не мог взяться за перо: всё медлил и медлил. Прости меня, пожалуйста.

ОНИ, т.е. Бочаров и, вероятно, редактор сборника, взяли для издания “Ни стуку, ни гроку”, а потом НЕКТО запротестовал и, как я понял, рассказ не вошёл в сборник. Я тогда сказал Муле, чтобы он передал “Толе” твои слова об “Осени в дубовых лесах”. Он это сделал, и, тот, кажется, должен предложить рассказ редактору.

Вот такие, понимаешь ли, смутные дела на этом фронте. По-моему всё это мерзко. И хочется после всего этого с кем-нибудь поругаться и обозвать кого-нибудь заслуженным словечком.

А я ездил в Новгородскую область охотиться. Приехал домой с тремя кряковыми селезнями и вальдшнепом. Приехал радостный, а тут ещё твоё письмо меня дожидается. Я очень люблю твои письма, Юрка! А сам писать лень. <...>

Вот и всё.

Крепко жму руку.

Г. Семёнов <подпись ручкой и дальше приписка от руки:>

Юра, пришлось распечатывать конверт. Вчера узнал, что твой рассказ “Осень в дубовых лесах” вошёл в сборник. Всё отлично! А мой “Тростниковые заводи” выкинули, черти! Ну да ладно”.

(Орфография и пунктуация Г. Семёнова)

Письмо шло в Тарусу три дня, получено там 31 мая 1962 года.

Рассказ в сборнике отличается вот почему. Лето, 1962-й год. Мы в доме на Арбате, телефонный звонок. Редактор толстого тома “Рассказ 1962 года” говорит Юре, что “Осень в дубовых лесах” — прекрасный рассказ, но короткий, Юра немного за него получит, у него есть ещё возможность дописать несколько страниц. Юра прибавил тот кусок, где автор и поморка бродят по Москве ночью в поисках пристанища. Помню, как он очень быстро отстучал на машинке вставку, и рассказ удлинился страниц на пять. Этот рассказ — разительный пример того, как писатель сплетает события из жизни с выдумкой. Не зря Юра писал: “Произведения всех авторов автобиографичны — автобиографичны в том смысле, что всё, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д., — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен пережить сам. Каждый рас-

сказ, который мною написан, имеет свою историю, своё начало и конец и свою судьбу”\*

У меня хранится рисунок художника (не помню его имя) к этому рассказу: Юра стоит на берегу с фонарём в руке. Долго думала, написать ли, что однажды сказал Юра, давая интервью газете. Не помню, какая это газета, не помню, кто лет семь-восемь назад дал мне её. Она где-то затерялась среди бумаг. Корреспондент спросил про “Осень в дубовых лесах”: была ли та женщина у него в жизни. Он коротко ответил: “Да, я её любил всю жизнь”. Понимаю, этому могут не поверить. Но даю слово чести, такое интервью было, и Юра эти слова сказал. Почему эти слова так и канули в небытие? Ведь это ключ к одной из загадок его жизни. Надо было искать эту женщину. Я прочитала эту газетную статью в Зарайске, мне уже было за семьдесят. И я снова жгуче ощутила свою вину, что не смогла, не хватило сил, характера, да и помощников спасти Юрия Павловича от пагубной болезни.

Обратно мы ехали, поймав на шоссе машину. Потом электричка, метро. Таруса, Серпухов и снова Москва.

### МОСКВА. 1960-1961, ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА

Вернувшись домой, я стала искать квартиру, чтобы было где жить, когда Юра в Москве. Мне в жизни встречались поистине замечательные люди. Одна из них – Вера Ивановна Прохорова, из семьи известных русских промышленников Прохоровых и двоюродная сестра Рихтера. Она преподавала английский язык на педагогическом факультете нашего института в тех самых группах, в которых я учила студентов переводить. Мы часто возвращались из института вместе, шли пешком до метро Сокольники через большой лесопарк. Я как-то спросила у неё, не знает ли она кого-нибудь, кто сдаёт квартиру или комнату. Оказалось, что её родственники живут в Норильске, у них есть в Москве две комнаты, и они одну, наверное, могут сдать. Она с ними списалась, и к декабрю у меня была маленькая, метров десять комната в старинном кирпичном доме на Пионерской улице, что у Павелецкого вокзала. В ней был стол у большого окна, выходявшего на крыши соседних домов, высокая старомодная кровать, книжный славянский шкаф, где была пустая полка, ставшая полкой для посуды. На окно я повесила бежевую тюлевую штору с длинной бахромой, стало красиво и загадочно. В доме на первом этаже был продовольственный магазинчик, куда я бегала за хлебом и вареньем, из чего и состоял, главным образом, мой завтрак и ужин. В институте у меня было много часов, я всё ещё переводила Томаса Гарди и давала уроки английского языка в институте судебной медицины имени Сербского, который находился недалеко от Иньяза, так в народе назывался мой институт МГПИИЯ. И готовить мне было некогда.

Время от времени Юра наезжал в Москву, мы гуляли по Садовому кольцу, той его части, которая начинается от Павелецкого вокзала. Это широкая улица, на которой почему-то мало прохожих. Мы гуляли по ней в конце зимы, когда уже веяло весной. Часов около пяти начинало темнеть – сначала будто кто капнул в светлый день лиловую каплю, мало-помалу воздух лиловел, лиловая синь густела, зажигались жёлтые фонари – наступал вечер. Мы шли домой, пили – я чай, Юра – горячительный напиток. Я всё ещё понятия не имела, какая опасность ему грозит. Мне никогда не приходилось сталкиваться с пьянством как с социальным явлением. И потому я не была во все колокола.

В новый, 1961 год Юра прислал мне тёплую новогоднюю открытку – заснеженный домик в лесу, ночь, звёзды, луна, синица на суке, в окне – огонь, и бегут, взявшись за руки, два зайца. Открытка послана из Москвы 30.12.60 года, “Литвиновой Марине” на адрес моих родителей – “2 Щукинский пр., д. 4, кв. 25”. Вот её содержание:

“С Новым Годом!

Да будет он для  
тебя похож на этот  
домик – такой же

\* Казаков Ю. Опыт, наблюдение, тон // Вопросы литературы, 1968. № 9. Цитирую по книге: “Две ночи”. М.: Современник, 1986. С. 302.

симпатичный и милый.

Будь здорова  
и счастлива

Ю. Казаков”

Это – почтовая открытка, поздравление – слева, справа – адрес.

А в феврале получаю длинное письмо, от 18.11.1961. Диаметрально по настроению. Вижу, как настроение меняется у него, пока он пишет. Тогда я поняла это послание, как “сержусь, но не насовсем”. Хотя оно длинное и мелким почерком, переписываю его целиком:

“Здравствуй!

Когда ты будешь миллионершей, тогда купишь яхту из красного дерева с мотором и поедешь на Средиземное море.

Пока же тебе придётся удовольствоваться байдаркой. У меня раньше твоего родилась идея – байдарка, палатка, ружьё, киноаппарат – и два месяца путешествия с озера Лаче до Кеми. До июня я буду жить в Дубултах, а в июне поеду, и если мы дотудова не поругаемся, то м<ожет> б<ыть> поедем вместе.

Здоровье у меня сносное, только вот уже дней десять как онемела рука – мышцы и безымянный пальцы и дальше понизу к локтю. Что это такое никто не знает – м<ожет> б<ыть> нервное, м<ожет> б<ыть> микроинсульт, аллах ведаёт. Надо бросать курить, а я всё не могу и очень злой поэтому. Твоё письмо (особенно последнее) какое-то очень искусственное – какое-то оно сочинённое.

Я был в Голицыне у Коринца. Там славно, очень ко мне все хороши были, и много старых лиц: Гусев с женой <секретарь Льва Николаевича Толстого, у него в Голицыне был свой домик, ему тогда было восемьдесят лет; это красивый бодрый старик, вегетарианец, он как-то сказал: “Я всё ещё помню запах жареного гуся”>, Славин, Лебедев и проч. Назад ехали на машине: Рита Райт, Вероника Тушнова, Коринец и я.

Заходер перевёл сказку А. Милна “Винни-Пух”, купи её своему Димке, сама прочитай, и да будет вам всем стыдно, что вы не удосужились перевести эту книгу. Вышла она в 1925 году и по значению равна таким как “Алиса в стране чудес”. И проч.

У Заходера же есть чудный киноаппарат, дорогой очень, японский, стоит 550 руб<лей> но я наверное куплю.

И ещё есть у меня намерение, которое, слава богу, встретило полное одобрение мамы. Ты не угадаешь, я тут подумал, что стыдно писать о своих мечтах пожить простой жизнью, а жить всё время в Малеевках и в Дубултах, так вот я хочу этим летом завербоваться сезонным рабочим куда-нибудь на лесосплав и месяца два-три поработать, не говоря никому, что я писатель и всё такое прочее. Думаю, что месяца на два меня хватит, да и для здоровья м<ожет> б<ыть> будет полезно пошачить на свежем воздухе. Вот такие планы у меня до осени.

А там Коктебель. В Крыму я не был, беру байдарку, маску и ласты и еду.

Писать в этом году не буду ничего, врачи не велят м<ожет> б<ыть> только в Дубултах кое-что поковыряю.

Ты привыкай жить одна (если способна на это), так как мы будем редко теперь видеться (до лета во всяком случае.) Здоровье у меня не ахти какое, настроение поэтому – тоже, в Москве я почти не буду, только приехав отсюда, тотчас уеду в Румынию, и вернувшись оттуда, – в Дубулты. . .

И вообще как-то после того телефонного звонка что-то у меня по отношению к тебе сломалось. Я не верю, конечно, что это был розыгрыш, как ты говоришь, всё это шито белыми нитками и дурно пахнет.

Да и вообще, если ты заметила, в последние месяцы я очень изменился, я сам в себе это ощущаю, постоянная почти хандра разные мелкие и крупные болезни, неохота писать и пр. и пр.

Я тебе было написал тут, чтоб ты не писала мне больше, но не послал, а вот сейчас сию и думаю, и вижу, что как ни кинь, всё клин.

Словом, летом определится, поедем ли мы вместе или нет.

Хожу на лыжах, в лесу хорошо, тихо, следы лосей, зайцев и лис. И опять меня привлекает охота, которую я когда-то любил больше всего, хочется снова ружьё, забраться погуще и походить м<ожет> б<ыть> снова потрястись выстрелом, запахом дыма и счастливой усталостью.

Я всё тут думаю, что неправильно живу и что жизнь моя хотя внешне свободна, однако и не свободна внутри почему-то. И наверное, виноват в этом один я. Так вот этот год я хочу заняться своим что ли высвобождением.

Ну пока, будь здорова. Я м<ожет> б<ыть> приеду в Москву вскорости, а приехав, очень просто могу забрести к тебе попозже к вечеру прямо так, без звонка – ты ведь, наверное всё больше на Павелцекой?

Ю. Казаков

18 II 1961”. (Орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Юра первые годы никогда в письмах не жаловался на здоровье. Это февральское письмо – исключение. Думаю, он подсознательно хотел возбудить в моём сердце жалость к нему и беспокойство о нём. Теперь я понимаю – повод для ревности имелся. Одно дело – я жила в семье родителей, с сыном, никакой мужчина не мог остаться у меня ночевать. А тут я одна, свободная молодая женщина, довольно привлекательная на вид (это я теперь так вижу себя тогдашнюю), окружена молодыми слушателями, соблазн-то велик. Конечно, здравый смысл мог бы ему подсказать: я люблю его, это ясно, к тому же много работаю, готовлюсь к занятиям, перевожу, езжу к сыну. И вообще не из тех, кто изменяет любимым людям. Трезвый, Юра понимал это. Но выпив, оказывался во власти демонов ревности. Разжалобив меня в письме “разными мелкими и крупными болезнями”, Юра изложил свои будущие планы – путешествия, работа в Дубултах и фантастическое желание поехать на лесосплав под чужим именем. Но мостов сжигать не стал, обещал заглянуть невзначай в комнатку на Пионерской.

Февральское письмо было первым вылившимся на бумагу всплеском беспричинной Юриной ревности. Но он сумел с собой справиться. В марте Юра путешествует в Румынии, Польше и Чехословакии и шлёт мне оттуда добрые письма. Вот открытка из Бухареста (я часто живу у родителей, на 2-м Шукинском проезде):

“Милая Маринка! Я был в Карпатах и этот вид который я тебе посылаю (Дунай) ни в какое сравнение не идёт с Карпатами. У всех головокружение и разбитые от восторга сердца. У меня тоже. Завтра утром едем в Констанцу, потом в Бухарест, а потом и в Москву. В Карпатах сплошные джазы, горные хижины (отели), американцы, немцы и проч<ие> шведы. Там снег, а в Бухаресте весна, как у нас в мае. Всю плёнку я потратил уже. Привет! Ю. Казаков март 1961. Бухарест”. (Орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Открытка у меня сохранилась.

Есть ещё одно письмо из Бухареста, без даты:

“Здравствуй, Марина!

Все пошли в театр, а я забастовал, сижу в отеле и пишу письма, а то не очень-то распишешься, день загружен целиком с раннего утра и до 2-3 ночи. Сейчас отсыпался за всё прошлое.

Очень всё занято, многое, как у нас: много наших автомашин (“москвичи”, “победы”, “волги”), – но есть и здешние, которые разделяются как бы на две струи: румынские и вообще западные. Румынское – это некоторые лица, одежда: высокие бараньи шапки, вышитые рубахи, расшитые душегрейки. А запад – это рестораны.

Первый раз запад открылся мне вечером в ресторане нашего отеля, когда вошёл я в дымный зеркальный зал и услышал милые моему сердцу звуки джаза. Я уже ничего не мог видеть, а смотрел только на музыкантов, а они играли всё лучше, входили в экстаз; выскочили две девочки, сёстры Думитриу, с серебряными волосами, и стали петь у микрофона, перебирали ногами, качались и т. д. потом пошли танцы, весь народ почти встал из-за столиков и теснясь, топчась на одном месте, качались и поводили плечами, и сквозь гул и шум ног и одежды всё время с завораживающим однообразием вскрикивал саксофон.

Потом был блистательный ресторан отеля “Лидо” с красивой подсветкой, с постепенно темнеющим залом, потом бар “Melodi” в подвале с низким потолком, современный, с прекрасной программой, с дымом, как на вокзале, с женщинами, и, наконец, вчера – нечто совершенно удивительное и экзотичное: Жан Якубеску, приятель и ученик Лещенко, говорящий по-русски, пел специально для нас русские песни на западный манер, пел “Очи чёрные”, “Прощай, мой табор”, “...умирал ямщик” – и свистел румынскую “Дойну” так, что мурашки по коже шли. И мы, подвыпив, ходили в антракте целоваться

с ним! Господи, мне иногда казалось, что и я эмигрант, так больно и сладко было, и чего-то хотелось — русских изб и грачиного крику.

А днём — поездки на заводы и в музеи и шляние по городу. Много здесь хороших вещей но цены высокие раза в 1,5-2 раза выше, чем у нас, а лей нам дали всего 240. Вот мы и терзаемся. Тут есть изумительные французские кофточки по 450 лей. Ах! Думаю о матери и тебе — что бы вам привезти? — и ничего не придумашь.

Завтра или послезавтра уезжаем в Карпаты, потом в Трансильванию, оттуда в Бухарест, в Констанцу, снова в Бухарест и 21-го домой. Будь здорова! Приеду — всё расскажу. Ю. Казаков”. На левом поле строчка: “Живём мы в хороших номерах, но мука с лифтёрами” (орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Затем получаю письмо из Кракова. Я решила, подумав, полностью давать на этих страницах его письма. Перепечатаваю и не только заново переживаю, но и по-новому понимаю их. Да и для исследователей его творчества, его характера, да и вообще той жизни наверняка интересна каждая его строчка. Юра пишет:

“Прошем Пани!

Я в Кракове. Это совсем иной город, нежели Варшава. Варшава была вся разбита и теперь выстраивается снова. Краков уцелел и поэтому кругом сплошное Средневековье.

Очень все устали и вымотались потому гляди сама: надо 1) совершить все предусмотренные программой походы 2) надо походить по городу самому 3) надо пойти вечером в какой-нибудь бар и слушать джаз.

Я тут как-то не очень возбуждён, а так... так себе. И смотрю с умилением на байдарку берегу её пуше глаза.

Впереди у нас Закопане, а там Чехословакия. Завтра поедem в Освенцим. Много, конечно, интересного, но сейчас как-то сумбур в башке, неохота рассказывать, пишу потому только, что накопил конвертов и открыток и надо их расходовать. Всё-таки эти турпоездки, да ещё с такой бешеной программой как у нас очень тяжелы и мало интересны. Буду теперь ездить только со спецгруппой. Или один.

Теперь вот что: вернусь я числа 18-17 в Москву и числа 29-го надо выехать в Тарусу. Я купил себе тут хорошую лыжную куртку, а штанов нету м<ожет> б<ыть> в Закопане попадут<ся>. Или в Чехословакии.

Ну вот и всё, обнимаю! Купи себе за ради бога что-нибудь эlegantное к лыжам. Я хотел да не выходит надо мамаше кофточку.

Целую и обнимаю. Напишу из Чехословакии” (орфография и пунктуация Ю. Казакова).

Мне и маме Юра всё же привёз из-за границы по шерстяной кофте. Устинья Андреевна — бордовую мохеровую, она её потом не снимала. Мне — светло-бежевую, вязанную из тонкой шерсти, я в ней ездила чуть ли не во все наши походы. И ещё — большую круглую коробку со светло-розовой пудрой, одну на двоих. Я отсыпала себе половину. Главное его приобретение — байдарка “саламандра”, серебристая, с двумя небольшими вёслами. А я тем временем купила двухместную брезентовую палатку бутылочного цвета. Она ещё долго жила в моей семье, но потом куда-то сгинула. Сохранилось моё письмо, где я пишу о её покупке.

В апреле Юра поехал в Ялту, в Дом творчества. Был его телефонный звонок, а писем всё не было, и я послала ему 30 апреля такое письмо:

“Здравствуй, Юра! Ну, что же ты ничего не пишешь? Хотя бы написал несколько строк, что здоров и работаешь, и вспоминаешь меня.

Я купила двуспальную палатку. Они бывают редко. Это хорошая палатка. Лёгкая. У неё пол и марлевое окошечко. Очень портативная. Я так давно мечтала о доме, а теперь он лежит свёрнутый в нашей комнате, между дверью и шкафом. Такой славный дом: взвалил его на плечи и ступай, куда глаза глядят.

У нас холодно. Сегодня утром вышла, вижу — пух летает редкий; удивилась: неужели лопнули коробочки у тополя? Вроде рано ещё. А это снег. Послезавтра 1 мая. Буду дома <на Щукинской, у родителей>, как всегда. Будут наши любимые Митюшины <боевой генерал, артиллерист Владимир Георгиевич Митюшин и его жена Ольга Ивановна, друзья нашей семьи>.

Сегодня говорила с твоей мамой по телефону. С лёгкими у неё всё в порядке. Рентгеновский снимок готов и ничего страшного не показал. Слава богу.

Но что-то ещё, что она по телефону не сказала. Завтра вечером буду у неё, расскажет. Тогда напишу.

Тут о тебе по радио говорили. Я не слыхала. Но будто бы очень что-то хорошее, про очерк. Да, очерк, верно, получился.

Работа у меня не иссякает. Но она даёт деньги. А с деньгами веселее. Большие надежды возлагаю я на это лето и в смысле работы, и в другом смысле. Надо будет оформить в систему все мои рассуждения и взгляды, которые определяют мою жизнь и всё моё поведение. Это всё надо будет записать. Потому что я лъщу себя мыслью, что жизнь моя самая правильная и потомуки, ознакомившись с тем, что руководит мною, будут начинать свою жизнь сразу хорошо, без тех поисков, провалов, мучений, которые сопутствовали мне в первом десятилетии моей взрослой жизни. Вот.

Целую. Марина”.

Через неделю получаю от Юры письмо, написанное от руки, которым он отвечает на моё предыдущее, не сохранившееся:

“Здравствуй, милая! Письма твои я получил, очень грустно, что всё так выходит, — видно не каждый год подваливает человеку счастье. Буду перепланировать теперь всё. От поездки я не откажусь, конечно, она мне слишком нужна и слишком долго я о ней думал. А решим, наверное, так: я буду шляться по Северу, сколько смогу, а затем, когда прекращу движение, — отправлю все свои шмотки домой и тогда м<ожет> б<ыть> ты приедешь просто так нюхнуть Севера.

Здесь хорошо, но срок моей путёвки истекает, в продлении мне отказали, а мне надо бы ещё здесь остаться, так что я верно буду перебираться ещё куда-нибудь получше — в Судак или в Коктебель... И проживу здесь до начала июня.

Будь здорова, береги себя. Не забудь послать журналы с очерком в Печоры.

Целую твой Юрий.

Ялта 2 мая 1961” (орфография и пунктуация Ю. Казакова).

## ЛЕТО 1961 ГОДА, СЕВЕР

В конце мая или в начале июня Юра вернулся в Москву и засобирился на Север. У него был намечен план путешествия, начиная от Кеми и кончая Мурманском. Я в это время переводила для Гослитиздата несколько писем Диккенса, и уезжать не было никакой возможности. Но и отказаться от поездки я не могла. Нашла своего бывшего студента Игоря Гаврилова и вместо себя предложила этого способного юношу. Издательство согласилось на замену — он справился с работой прекрасно. Так что душа у меня была спокойна. Юра к этому времени уже уехал в Кемь. Надо было его догонять. Получаю 21 июля такое письмо-телеграмму: “звенигород московской красноармейский тупик 5 литвиновой / выезжай мурманским экспрессом кемь вещей бери минимум я уезжаю ухту жди меня гостинице о невозможности выезда телеграфируй ухту калевала пленки не нужны ухте буду дня два три целую = юрий”. Через два дня, 23 июля, ещё одна телеграмма, сердитая: “сейчас же телеграфируй ухта калевалы приедешь или нет = юрий”. Телеграмму о выезде я отправила, сохранилась её крошечная квитанция “КВИТАНЦИЯ в приёме телеграммы № 634 в Ухту Казакову Колич. сл. 16 Общая плата 58 Принята (разобрать невозможно) Подпись (тоже невозможно)”. Телеграмма из Звенигорода. Пришлось бросить свою дачу, в ней поселились родственники моей подруги. И я отправилась в Кемь. Билет в Кемь через Ленинград сохранился, даже с квитанцией об оплате. На нём число, пробитое компостером, — 27 VIII I.

Из Кеми мы поехали поездом в Кандалакшу. Там в морском вокзале пришлось ждать до утра грузопассажирского парохода. Отплыли мы рано утром 29 июля. Плаванье было спокойное, у нас были билеты третьего класса (мой билет сохранился), но капитан любезно пригласил меня в кают-компанию, чтобы я могла поспать на узком, длинном, но мягком диване. Отдохнув, я вышла на палубу, солнце стояло низко, и его лучи насыщали воду густым оран-

жевым цветом. Вода колыхалась и казалась тяжёлой, непрозрачной, похожей на расплавленный металл в тигле. Сравнение точное, этот образ до сих пор у меня стоит перед глазами.

Мыплыли в Умбу, поселение на Кольском полуострове, где люди занимаются рыбной ловлей, разведением рыбы и обработкой плавника. Приплыли к вечеру, причала для большого судна не было. Спустили для нас трап, мы попрощались с капитаном – всегда грустно прощаться с добрым человеком, которого никогда больше не увидишь, – и осторожно сошли в приставший к борту карбас. Карбас – это обычная вёсельная, довольно большая лодка.

Из Умбы путь лежал дальше, на Терский берег Кольского полуострова, в поморскую деревню Чаваньгу. Летели мы туда на маленьком самолёте. У меня до сих пор сохранился на него билет. Когда поднимались в воздух, и самолёт делал круг, я глянула вниз: на воде, окружавшей Умбу с трёх сторон, как будто рассыпаны спички – так видится сверху сплавленный сюда лес. Большую часть года эти дребезжащие при посадке самолёты – единственное средство сообщения между посёлками.

В Чаваньге на лётном поле нас встречал председатель сельского совета, он получил телеграмму о нашем прилёте. Это был высокий красивый помор с норвежского типа чертами лица, с высокими (не широкими) скулами, твёрдого очертания рта и умеренно длинным, нешироким носом. Улица, по которой мы шли, называлась “Пионерская”, а буква “я” была написана как “А” с перпендикулярной полоской вниз от середины перекладки. Так писалась буква “я” в древнерусском языке, этого написания я не могла найти среди компьютерных символов. Председатель повёл нас к себе домой. Дома в деревне высокие, жилые помещения стоят на подклети. К дому примыкает крытый двор, он ниже жилой части дома, в нём держат скотину. Из сеней сбоку тянется над двором длинная узкая галерея, которая заканчивается уборной: небольшое, чистое помещение, крытый дощатый ящик с овальной дырой по середине. Человеческие испражнения падают вниз, их время от времени засыпают коровьим навозом. По весне чистят эти “авгиевы конюшни” и содержимым, перемешанным с соломой, удобряют малопродуктивные для земледелия земли. Дом и мебель построены без единого гвоздя. Лавки не такие, как в средней полосе России, они шире, с подлокотниками и спинкой.

В доме просторные светлые комнаты с большими окнами, нас накормили отличным рыбным обедом и пирогами с моршшкой и отвели к соседке, которая приютила нас на две-три ночи. Этот дом был иного свойства. Небольшой, тесноватый; нам отвели закуток, что-то вроде спального отсека без окон. В нём широкая постель без простыни, две подушки в ситцевых наволочках в цветочек, одеяло без пододеяльника, засаленное испарениями человеческого тела. Мы проспали там две ночи, и ничего плохого с нами не случилось. На Севере в воздухе совсем нет микробов, им в тех широтах неуютно. И люди не болеют, но в каждой семье есть хотя бы один утопленник: с морем шутки плохи. В августе, когда мы там были, штормов не бывает.

Устроившись с жильём, двинулись к морю. Вышли на песчаный берег, широкий, уставленный шестами, между которыми сушатся растянутые сети, и я тогда поняла, откуда в пушкинских сказках море. Это было точь-в-точь то море, тот берег, где “жили-были старик со старухой”. Деревня стоит на берегу порожистой речки. В домах есть электричество, даёт его местная крошечная электростанция на этой речке. Всё время слышится мерный стук работающего движка. Заметили и одно досадное обстоятельство. В один из дней причалил грузопассажирский пароход. Он привёз, кроме нужных товаров для местного магазина, ящики со спиртом в бутылках без этикеток, с выпуклыми стеклянными буквами, производство Ленинграда. Народ ожидал этого товара с большим энтузиазмом. Нам это показалось неправильно и вредно для местных жителей.

Но в основном впечатление от Чаваньги, да и вообще от Севера огромное, ничего подобного южнее в русских краях я не встречала. Пахотной земли нет, но угодья для выпаса коров есть. Какая там трава, чем эти коровы живы, не помню. Кто-то, может быть, в шутку сказал, что они очень любят грибы. Коровы дают жирное молоко, из которого делают сметану, она продаётся в магазине. Такой густой сметаны в средней полосе я не встречала, её стряхивают с ложки. А грибов там, действительно, много. Растут они в карликовых лесах. Иду я, мне показалось, по лугу, и вдруг вижу среди зелени под



ногами листья на тонких веточках. Как есть берёзовые, но только размером с трёхкопеечную монетку (с теперешнюю двухрублёвую). Такие же зубчики, нагнулась — неужели это карликовые берёзы? Да мы ведь о них в школе учили! Мне было стыдно спросить, но я всё же спросила.

— Да, — говорит наш спутник, — это берёзы и осины, а между ними грибы, выше них ростом.

Грибы там — подберёзовики и подосиновики — растут очень быстро из-за длинного светового дня; крупные шляпки лопаются, на них образуются перемычки, как на панцире у черепахи. Червивых грибов почему-то нет. Мы их собирали, варили суп, жарили на сливочном масле. Попросили у хозяев луковицу. Не допросились. Плодородной земли для огородов нет, её за большие деньги привозят в пакетах с Большой земли. Высыпают в длинные глубокие ящики и выращивают в них лук. Ну, сколько луковиц можно вырастить в таком ящике? Поэтому каждая луковица на счету. Кормят там люди рыбой, нас потчевали пирогами с сёмгой. Много морошки. Чернику собирают широкими деревянными вилками, прочёсывая черничные кустики, черника там величиной с виноград. Мясные консервы, крупы, мука — это всё привозное.

Нам очень захотелось побывать на тонё. Тоня — это два-три дома в нескольких километрах от деревни, таких тонь по берегу — от деревни налево и направо — несколько. Здесь живут во время лова поморы, иногда вместе с семьями. Привезли нас на ближайшую тоню на карбасе, она километров в десяти от Чаванги. У рыбаков здесь семьи, бегают детишки. Встретили нас весело и гостеприимно. Только что поймали несколько сёмужек, при нас вспороти одну брюхо, достали икру, посолили, и через полчаса икра готова. Ловить сёмгу для себя запрещено. Всю выловленную сёмгу сдают государству. По берегу ходят инспекторы рыбнадзора. И, тем не менее, ловят и едят её все. Нас угостили пирогами с сёмгой и с морошкой. Так есть морошку не очень вкусно, а вот пирог с ней — объединение, как будто с жёлтой малиной. Мы на тонё заночевали, постелили нам на берегу оленьи шкуры, прямо на землю, дали одеяла и подушки. Оленьи шкуры оказались мягкие. Волоски на них полые, наполнены воздухом, и поэтому на шкурах так мягко спать. Это были, наверное, самые удивительные дни в моей жизни. Край земли, белая ночь, на самом-то деле, она прозрачно-серая. Мы в гостях у добрых, бесхитростных людей. И рядом со мной — любимый и очень талантливый человек, отмеченный Богом. Мы не спим, говорим о вечном: о жизни в разных местах земли, о том, какие разные всюду люди. Как занятие, работа, место обитания влияют на характер, привычки, нравы людей. И какое счастье, что мы очутились здесь, в Заполярье, два человека, слившихся в одно духом и телом.

Карбас в Чавангу собирался нескоро. Пришлось думать, как добираться обратно. Кто-то сказал, что на соседнюю тоню завтра зайдёт дора (катер с мотором), которая нас туда и подбросит. До соседней тонь было, кажется, километра четыре. И мы решили идти пешком. Заблудиться не заблудишься, держись кромки моря — и пункта назначения не минуешь. Ну, мы и пошли. В тундре, однако, идти не так просто, это не наезженная колея и даже не лесная тропа. Что-то похожее на тропу есть, но она то и дело исчезает, единственный ориентир — море. Земля вся усеяна мелкими и крупными камнями, прямой дороги нет. Чтобы обойти нагромождение камней, приходится делать большой крюк в сторону от воды и возвращаться, продвинувшись всего на несколько метров. (Стараюсь писать как можно точнее, чтобы Юра, будь он жив, похвалил бы меня. Обычно он мои писания критиковал.)

Мы шли и шли, и казалось, конца-края нашему пути нет. Справа — море, слева — плоская, неровная тундра. И вдруг на горизонте замаячила фигура человека. Встретить человека в тундре — большая удача. Людей там мало, злоумышленников нет. Встреча всегда сулит что-то интересное. Человек быстро приближался к нам. Это был высокий, лет сорока пяти мужчина в брезентовом плаще, в высоких сапогах и фуражке. Он тоже спешил на дору. Пошли вместе. И он рассказал нам свою историю. Он специалист-ихтиолог. Много лет назад приехал на Север, чтобы заниматься разведением рыбы. В Москве (точнее, в Подмосковье) у него осталась жена, и он каждый год возвращался в отпуск домой. И каждый год думал, что возвращается насовсем. Но поживёт немного в суете средней полосы, и что-то начинает его тянуть

в низкие широты. И он опять едет на Кольский. Так прошло лет десять. И вот однажды он взял и не поехал в отпуск к себе домой, в Подмосковье. Да так и остался жить на Севере. Эту тягу он объяснил тем, что на Севере в воздухе нет микробов, и организму здесь любо. Потому так сюда и тянет. Значит, ко всему прочему (мало людей, мало начальства), есть ещё и тяготение тела. За разговорами мы подошли к тонé. Дора должна прийти часа через три. На этой тонé только один дом, и в нём тогда был только один помор. Он нас приветливо принял, предложил нам высокую стопку блинов на большой тарелке, которые сам напёк. Мы сели за стол и рассказали ему, что мы из Москвы, собираем материал для журнала. Он обрадовался, полез в печь, достал большую кастрюлю с супом из лосиного мяса. Говорит, принял нас за рыбнадзор. Лосей тоже запрещено убивать, он и решил потчевать нас не запрещённой законом пищей. Затем достал странный сосуд – коричневый эмалированный ночной горшок с ручкой, довольно большой. В нём была брага. Эти посудыны им привозят по разнарядке, а они используют их для своих надобностей.

Скоро подошла дора, приткнулась на мелком месте. Идти к ней надо по колено в воде. Наш спутник подхватил меня на руки – у него были высокие сапоги – и перенёс с берега на дору. Юра разулся, и скоро мы удобно устроились на скамье тархтевшей доры. Я обратила внимание, что любезность нашего спутника не вызвала у Юры и тени раздражения. Дора эта не сразу направилась в Чаваньгу, надо было зайти ещё в какую-то деревню – туда как раз плыл наш спутник, – и уж потом она пойдёт обратно в Чаваньгу.

В Чаваньге стали думать, как добираться отсюда до Мурманска. Кто-то посоветовал лететь в Пялицу, последнее поселение на Терском берегу, который оканчивается мысом Святой нос, разделяющим Белое море и Баренцево. Из Пялицы самолётом в Апатиты, где останавливаются московские и ленинградские поезда, идущие в Мурманск. В Чаваньге мы не стали больше задерживаться и полетели в Пялицу. На этих самолётах летаешь, как будто качаешься на огромных качелях. Только успел самолёт достичь высшей точки полёта, как опять снижение, посадка, и опять взлёт.

В Апатитах было уже что-то вроде аэропорта. Большое взлётно-посадочное поле. Лёгкое строение, где продаются билеты, несколько служащих. Нашли попутную машину, которая отвезла нас на станцию. Много железнодорожных путей. Небольшой вокзал с высокой, круглой железной печкой, которая сейчас, разумеется, не топилась. Смеркалось, пассажиры сидят на лавках, сильно пахнет махоркой. Всё у нас складывалось удачно, поезд “Москва–Мурманск” подошёл часа через два, мы купили билеты в мягкий вагон и насладились купейной цивилизацией. В часы ожидания на вокзалах мы обычно играли в слова. Брли какое-нибудь длинное слово и из его букв составляли новые слова. Потом сравнивали, у кого больше. Я всегда выигрывала, потому что у меня была метода. Юра обгонял меня по интересным, редким словам, но по количеству – никогда. Я брала первую букву и начинала методично подставлять к ней гласные, имеющиеся в слове. Например, слово “портал”, беру букву “п”, подставляю к ней первую по порядку гласную из имеющихся в слове букв, к ней подставляю такую же согласную, потом опять гласную, потом опять “п” и следующую гласную. И так с каждой буквой по очереди. Система работала безотказно, Юра в шутку сердился, я ему объяснила систему, но ему искать по системе было неинтересно. В нём сидели вороха удивительных слов, он их быстро извлекал на свет божий, а копаться со всякой мелочью ему было скучно. У меня сохранилось много таких бумажек.

В Мурманске нас поселили в общежитие обкома партии. Юра пошёл в Рыбное управление, узнавать, когда уходит в море ближайший сейнер. Оказалось, что через день. Мы ходили по городу, мужчин на улицах было гораздо больше, чем женщин, особенно моряков. Осмотрели рыбный порт, нам дали туда пропуска.

В порту стоял сильный рыбо-морской, йодистый запах, приятный, не гнилостный. Просторно, деревянный настил. На автотележках возят большие светлые и тёмные ящики. У причала – десятки судов разных калибров. На одном Юре предстояло уйти на днях на рыбный промысел.

Мы сильно поистратились, путешествуя по Кольскому полуострову. Юра послал телеграмму Коринцу, умоляя выслать пятьдесят рублей. Я – маме и Фриде Абрамовне Вигдоровой с просьбой перевести телеграфом немного

денег. Когда Юра отплыл в море, у меня в кармане было ровно семь копеек. Надо было ждать переводов из Москвы. Мама была в это время на даче и получила мой телеграфный вопль дня через три. Телеграмму ей привезла сестра. И она тут же выслала деньги. Фрида Абрамовна тоже перевела деньги не сразу.

Таким образом, я осталась в чужом городе без рубля в кармане, без единого знакомого, но, правда, с крышей над головой. К полудню мне очень захотелось есть. Я купила у частной торговки возле овощного магазина репу, она как раз стоила семь копеек. Я всё это хорошо помню, потому что часто рассказывала родным и знакомым этот замечательный эпизод. Тогда-то я и поняла на собственном опыте, что без денег и пищи человек может запросто умереть с голоду. Если, конечно, не найдёт дороги к спасению. Я зашла в скупочную, предложила свои ручные часы, никакой особой ценности в них не было, и часы у меня не взяли. И тогда я пошла в редакцию местной газеты “Заполярная правда”. Мы с Юрой туда заглядывали, Юра познакомился с главным редактором, обещал ему что-нибудь написать. И я направилась прямо к нему. Это был уже немолодой человек, с простым и добрым русским лицом. Он и на самом деле оказался добрейшим человеком. Я поведала ему о своём бедственном положении. Сказала, что могу делать в редакции всё: редактировать, писать, быть корректором. Мне надо заработать немного денег, пока мы не получим телеграфные переводы. По-моему, его звали Николай Николаевич. Он сочувственно выслушал меня, покачал головой и позвонил своей помощнице. Пришла молодая энергичная женщина, он объяснил ей в двух словах ситуацию и спросил, какие у них есть остро важные на сегодняшний день темы, по которым хорошо бы собрать материал. Помощница говорит, что самая важная сейчас тема – как маленькие мурманчата готовятся к длинной, без солнечного света зиме. Н. Н. говорит мне: “Вот вам и задание. Походите по городу, идите в школы, в детские центры при домоуправлениях, адреса вам дадут. Записывайте всё, даже если покажется неинтересным, не беспокойтесь, какой-то материал всё равно будет. Если что, поможем”.

Дали мне мандат от газеты и займы три рубля. Тогда на эти деньги могла прожить день целая семья.

Я на крыльях вылетела из редакции. И первым делом пошла обедать в ближайшую столовую. Поела ухи с рыбным пирогом, выпила чаю. И тут же отправилась по адресам. В Мурманске это действительно проблема. Где-то в октябре начинается полярная ночь, солнце ни на секунду не появляется над горизонтом. И дети возвращаются из школы домой тёмной ночью, хотя часы показывают два-три часа дня. Задача городских властей, школ, управдомов – организовать интересные занятия для детей, чтобы дневная темень не угнетала их психику. Пошла по первому адресу. Октябрьская улица, ЖКО. Председатель ведёт меня в клуб “Весёлые дворы для детворы”, в комнату отдыха. Телевизор есть, но нет антенны. На стене – четыре граммоты за первенство по бегу. Староста Тоня Похотина читает здесь детям газеты “Пионерскую правду”, “Комсомолец Заполярья”, “Арктическую звезду”. Подготовка к зимней работе с детьми идёт вовсю. Будут работать кружки по вышиванию, фотокружок. Я всё выспрашивала, записывала на четвертушки листа, они до сих пор целы. Будет ещё комната затейников, спортивные секции. Судоремонтный завод пришлёт инструкторов для кружков – столярного и по морскому делу. Я спросила: может, им нужна помощь от редакции? Нужна, в клубе нет футбольных мячей, достать их трудно и дорого. Я обещала в этом помочь. Чувствовала себя заправским корреспондентом, всё было интересно. Клуб организует путешествия. Ходили недавно в сопки за Семёновское озеро, человек двадцать. Собирали камни, цветы. Пели песни “Картошка”, “Бескозырка белая”, “Наш край”, “То берёзка, то рябина”. В другом дворе разговорилась с женщинами. У них в каждом жилом районе – женсовет, который тоже принимает самое активное участие в организации детского зимнего досуга. Они мне рассказали одну интересную вещь. По их инициативе было запрещено нанимать на сейнеры женщин, эти женщины (поварихи, медсёстры) были большим соблазном для мужской команды, которая проводила в море иногда несколько месяцев. Это, конечно, я записывать для газеты не стала. Побывала в детском центре ещё на одной улице. Большая комната отдыха, в ней 265 книг и 192 журнала. Среди книг “Сказки” Пушкина, Маршак, Иосиф Дик,

Вальтер Скотт, “Чингиз-хан” В. Г. Яна. Журналы “Огонёк”, “Вокруг света”, “Пионер”. В углу – телевизор. Есть телеграфный аппарат, уголок здоровья. Висят самодельные гирлянды. Белые занавески, синие шторы, на столе – скатерть. На стене – монтаж о первом космонавте Юрии Гагарине. И тоже грамоты за спортивные успехи от горкома комсомола. Во дворах готовятся к пионерскому слёту, который пройдёт в конце августа. Торжественно пойдут к Дому пионеров в пионерской форме. Будет торжественная линейка. Дворовые команды выступают со своей самодеятельностью.

А на другой день я отправилась в городской Дом пионеров. Там как раз готовился праздник цветов в честь нового учебного года. Шьют костюмы, делают венки из ромашек, колокольчиков, васильков. Репетируют самодеятельность, поют. У каждой дворовой команды будет свой пропуск – живой цветок. Круглый год в Доме пионеров читают лекции для школьников. Недавно была лекция о художниках. Ребят пришло много. И в одном двореком клубе был сделан монтаж из картин Тропинина, Брюллова, Кипренского, Репина. В Доме пионеров проходят встречи с иностранными делегациями. Были уже встречи с норвежцами, французами, поляками. Приезжали моряки с Кубы, обменивались с пионерами значками. Намечен поход к пограничникам, пограничники обещают развести костёр, ребята готовят самодеятельность. Выделены деньги на сухой паёк. В Доме пионеров есть кукольный театр, показывают кинофильмы – бесплатно. Обещают ещё устроить теневой театр.

Всё это я описала на девятнадцати больших страницах. На третий день пришла в редакцию, Н. Н. отправил страницы перепечатать. Прочитал и говорит: “Неужели это всё происходит у нас в Мурманске?”. И весь материал пошёл в следующий номер “Заполярной правды”. Много лет спустя я нашла этот номер газеты в Ленинской библиотеке (“Заполярная правда”, 1961 год, конец августа) и прочитала свою статью с ностальгическим удовольствием. Мне за неё заплатили двадцать рублей. Я отдала свой долг, и мне тут же предложили ещё одно задание. Но Юра уже вернулся, и мы засобирались домой. Получили деньги и от мамы, и от Фриды Абрамовны. Да ещё мой заработок. И я отказалась от дальнейшего сотрудничества. Честно говоря, с большим сожалением. Мне пришлось по душе работа в газете, да и вообще там понравилось. Москва куда хуже с её склоками, сплетнями, завистью, подсиживанием. Ничего подобного в Мурманске я не заметила. Конечно, я была в этом городе всего несколько дней, наверняка, и там имелись свои благоглупости. И всё же у меня сохранилось сильное чувство, что личная и производственная жизнь по-мурмански гораздо честнее и чище, чем жизнь в метрополисе.

Вот какую телеграмму прислал мне Юра с РТ 38: “мурманск комсомольская 3 общежитие обкома партии белосельской <ниже полоска> мурманску мрм 199/2 ке 38 нр 234 23 14 21 45 зам радио <далее текст> всё в порядке завтра будем мурманске 12 часов дня рт 38 уточни диспетчерской встречай у порта = юрий – 0122”.

А спустя два дня мы покидали Мурманск. Тогда в некоторых поездах был вагон с двухместными купе, но билеты в такие вагоны в общих кассах не продавались. И Юра послал меня к начальнику вокзала за разрешением ехать в Москву в двухместное купе. В повседневной жизни Юра не заикался, может быть, чуть-чуть, это ему даже шло. Но когда надо было о чём-то просить, заиканье становилось сильнее, и вместо него просила я. Как смутно в памяти проясняется эта моя прогулка к начальнику вокзала! Я обходила какие-то светлые каменные дома, день был ясный, тёплый, много спешащих пассажиров, как будто все куда-то опаздывали. Начальник дал разрешение. Спросил только, улыбаясь, откуда мы знаем про эти вагоны. “От главного редактора “Заполярной правды”, – ответила я. Купе большое, две полки, обе нижние. Вагон-ресторан. И вот мы в Москве. И опять каждый едет к себе домой. И опять нужно думать, куда отправиться, чтобы снова жить вместе.

*(Продолжение следует)*